

Евгений Салиас-де-Турнемир

На Москве (Из времени чумы 1771 г.)



Евгений Салиас де Турнемир

**На Москве (Из
времени чумы 1771 г.)**

«Public Domain»

1880

Салиас де Турнемир Е. А.

На Москве (Из времени чумы 1771 г.) / Е. А. Салиас де
Турнемир — «Public Domain», 1880

«...конец 70-х годов и все последующее десятилетие оказались очень плодотворными для писателя. <...> Но наиболее зрелым произведением этого периода явился большой двухтомный роман «Мор на Москве», позднее получивший название «На Москве». После «Пугачевцев» именно этой монументальной фреске из жизни Москвы 70-х годов XVIII столетия было посвящено наибольшее число критических откликов. Причем отклики эти были более доброжелательными, чем обычно. <...> Действительно, рассказ об эпидемии чумы в Москве в 1771 году, ставшей возможной лишь благодаря некомпетентности и удивительному невежеству власть предержащих и приведшей к окончившемуся кровопролитием народному возмущению, не просто впечатлял, но и заставлял задуматься над природой власти в абсолютистско-крепостническом государстве.

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	8
III	11
IV	14
V	18
VI	20
VII	23
VIII	28
IX	30
XI	35
XII	38
XIII	42
XIV	48
XV	51
XVI	54
XVII	56
XVIII	59
XIX	63
XXI	70
XXII	73
XXIII	76
XXIV	78
XXV	81
XXVI	83
XXVII	86
XXVIII	90
XXIX	93
XXX	96
XXXI	100
XXXII	105
XXXIII	109
Конец ознакомительного фрагмента.	110

Евгений Салиас

На Москве (Из времени чумы 1771 г.)

Исторический роман в четырех частях

*...Грех наших ради на Москве и слободах помирают многие люди
скорою смертию!..
(Из донесения князя Пронского)*

*...La femme en amour – est esclave ou despote!..
Vauvenargues¹*

Часть первая

I

Екатеринин день, 24-е ноября 177* года. Морозное, ясное утро. Солнце поднялось на безоблачном небе и засияло над серебряными сугробами, в которые увилась вся святая Русь. На небе солнце яркое, лучистое, золотое; на земле тоже яркие, лучистые снега и снега без предела, будто золото с серебром побились об заклад, кто кого переспорит, кто кого затмит. И этот начинающийся светлый день – праздник большой для всей Руси, и Великой, и Малой, и Белой; этот день царский – именины великой Государыни. День прогульный, день с обедней и с молебном в храмах, со всякой суетой, катаньями в городах, с песнями и хороводами по селам и весям.

В 13-ти верстах от Москвы по Коломенской дороге, рысцой бежала пегая лошаденка, а за ней прыгали по ухабам крестьянские розвальни, и в них сидел бочком молодой парень. Он тоже пегий в своем пестром тулупе с ярко-белыми заплатами. Полспины, плечо и правая рука ярко-белые из новой овчины, левое плечо постарше, серое, замасленное, годовалое, а грудь вся черная, ей пятый год пошел.

Пегий парень и пегий конь оба спешили скорее добраться до матушки-Москвы.

– Нынче Улю увижу!! Улю увижу!.. – повторяет парень и мысленно, и вслух.

Для него, видно, весь мир Божий – Уля!

А конек, верно, тоже мечтает: авось в Москве овсеца увижу!

Молодой парень уже третьи сутки в пути. Он выехал из родного села, из-под Рязани, в первый раз от роду. На селе недавно всем миром положили на сходке мужики избавиться от парня-бобыля и, взамен маленького клочка землицы, приходившейся на его долю и который всем миром у него оттягали, дали ему лошаденку, санки, один рубль денег, краюху хлеба, две охапки сена для коня – и спровадили.

– Куда хошь ступай!.. – было ему напутствие. – Ходи по оброку, плати не плати, – черт с тобой, лядащий! – только с глаз долой сгинь! Хотя миром за тебя оброк уплачивать будем, только бы нам с тобой развязаться, не видать тебя на воле во веки веков. Порченный!..

И парень-бобыль, по имени Ивашка, отвесил всем поклон, – особенно прощаться ему было не с кем – и, сев в санки, пустился в путь, в Москву.

«Уж коли ехать куда, – думал он, – так вестимо в Москву». Там прежние господа живут, которые его село года с три тому назад продали. Там же и Уля, единственный человек на свете,

который Ивашку любит, не считает лядащим и порченным и которую Ивашка тоже до страсти любит.

Ивашка не опечалился, что его всем миром вытурили из родного села. Он слышал, что в городах, особливо в Москве, хорошо живут.

Ивашка знал, что ему нигде особенно хорошо не уживется, потому что он воистину Богом обиженный, лядащий, порченный, ни на что не годный. Вот уже 20-е года ему пошли, а он ничего сделать не умеет, всякое дело у него вверх ногами выходит: все-то он испортит или, занятый своими дурацкими мыслями, все проворонит; ахнет потом, а уж дело испорчено.

И чуден тоже уродился парень... Так, со стороны посмотреть, пригожий, смирный, ласковый, вина в рот не берет, богомольный. Даже страсть как любит и уважает все божеское, т. е., стало быть, церковное.

И вот теперь силком, по приговору мира, едет в Москву. Чуть свет выехал с последнего ночлега, и лошаденка начала приставать.

Хоть и недалеко до Москвы, а, видно, придется отдохнуть среди дороги, остановиться, дать лошаденке клочок сенца и самому поглотить ломоть хлеба, оставшийся от краюхи, взятой с села.

Между тем дорога оживилась. Попадалось навстречу все больше народу, пешеходов, богомолков; обозы тянулись, шли целыми кучками хорошо одетые люди. Видно, близ столицы народу сытнее живется. И не видать Москвы, а чуешь, что недалеко до нее, глядя на кожихи и зипуны и бабы платки пестрые...

Проехал Ивашка большущее село, каких еще ни разу не видал с самой Рязани, и дорога пошла в гору. Лошаденка уже еле-еле ноги тащит. Ивашка решил, что, взобравшись на горку, делать нечего – надо будет остановиться.

Он вышел из саней, пошел пешком и поднялся в гору, глядя себе под ноги и раздумывая о своей заботе: что будет он делать в Москве? Глубоко задумался он, а сам все шагает около саней. Но вдруг попался ему прохожий. Ивашка будто проснулся, пришел в себя, поднял голову и ахнул во все горло. Ахнул парень, рот разинул, глаза выпучил и не знает, что и делать...

Перед ним вдали, направо, будто как на ладони, потянулось что-то такое... Господь его ведает! Диво дивное! Из конца в конец что-то большущее, дымчатое, сизое и все усеянное яркими золотыми пятнами, будто как ночью костры видать в поле.

Ивашка понял, что это и есть матушка-Москва. И страх его взял. Как туда теперь и въезжать?! Такой страх взял, что хоть сейчас садись опять в санки и поворачивай оглобли домой. Лошаденка тоже стала и будто тоже на Москву смотрит и тоже что-то думает. Верно, думает:

«А что сено? Как там оно?..»

Ивашка отвел санки в сторону дороги, где место было повыше, недалеко от двух берез. Живо выпряг он лошадь, поставил к саням, чтобы вычистила она сама все, что было там сенца, а сам сел на откос и стал, не сморгнув, глядеть на это диво дивное, что расстилалось там, внизу, как бы в облаке, меж краев земли и неба, в полублеске, полудыме.

Робость его прошла, и то диковинное чувство, которое так часто копошилось у парня на сердце и ради которого он и прослыл порченным, вдруг захватило его всего до косточек. Знал он его хорошо, оно-то и заставляло его всегда бросать всякую работу...

Оно-то и заставляло его вдруг вместо работы песнь затянуть, лихую или заунывную, душевную, и часто не чужую песнь, не ту, которую все на селе знают и распевают, а свою, самодельную, со своими словами. Бог весть откуда на ум идущими.

После этого, бывало, всегда Ивашке вдруг, неведомо почему, сгрустнется; случается даже, что и слеза прошибает... Так, сдуру... И уйдет куда-нибудь он подальше, чтобы свои на селе не увидели да на смех не подняли. Бывало, что, забравшись в душу, это диковинное чувство начнет будто грудь распирает, растет и растет, будто задушить хочет, в мир Божий кругом

будто обратном обернется, чем-то другим... Так, что иной раз в сумерки светло покажется, зимою в мороз – весной запахнет...

II

Громкий говор, крики, хохот и чей-то хриплый голос разбудили Ивашку. Он оглянулся. В нескольких шагах от него стояли три мужика и баба, а перед ними, лицом к Ивашке, – худая, тощая, сгорбленная старуха, вся в лохмотьях, с длинной клюкой в руках. Мужики тешились, а она злилась, хрипела и клюкой грозилась на них.

Видал старух Ивашка, но этакой, почитай, отродясь не видел.

«Как есть ведьма», – подумал он.

Прохожие мужики, смеясь, пошли своей дорогой, а старая, увидя Ивашку, подошла к саням.

Разглядев ее поближе, Ивашка и вовсе поверил, что это ведьма. Старая, беззубая, с провалившимся ртом, с маленьким, сморщенным и коричневым лицом, с мутными кровавыми глазами; седые лохмы выбились из-под платка; тощая, черная шея с руку толщиной, костлявые, длинные, как крючья, руки. Она приковыляла, злобно взглядывая на Ивашку, будто он чем-то обидел ее, и хрипнула, тыча клюкой вперед.

– На Москву сюда?

– На Москву, – вестимо, вот прямо по дороге.

– А ты не обмани, а то я тебе палкой... – прохрипела она.

– Чего обманывать, бабушка. Вот она, Москва-то.

– Где она? не ври! энти тоже вдали: вон она... Где она? Пустая дорога... а бают: вон она!

– Да тебе Москву надо?

– Вестимо. Треклятую, будь ей пусто... провались она... Господь ее разрази! Растреклятая! ни дна б ей, ни покрыва... Провалиться ей в преисподнюю, – злобно, почти задыхаясь, проговорила старуха.

– Что ты, бабушка, что так! Вишь, гляди, какая она! что храмов Божиих! вишь, какое от них сияние.

– Проклятая она! Проклятое место... – продолжала выхрипывать старая, и, подняв клюку, она яростно грозилась в воздухе.

«Ишь какая сердитая! – подумал про себя Ивашка. – Обожди, я тебя подвезу. Вот покормится лошадка, и поедем».

Старуха помолчала, поглядела Ивашке в лицо своими красными глазами, проворчала что-то сердито и, не сказав спасибо, села на край саней.

– Тебе что надо в Москве? – заговорил Ивашка.

– Алеха у меня там.

– Сын, что ли?

– А ты не озорничай, – побью...

– Вишь, какая! Ничего спросить нельзя.

– Надо, спешить надо! – ворчала старуха, – а то помрешь, так и не скажешь разбойнику... Не будет ничего знать, а это дело сам отец диакон все знает, когда солдат помирал, то при нем наказывал. Алехе все... Убью я его, озорника, разбойника!

И старуха опять подняла свою палку и опять стала грозиться.

«Ишь! – подумал Ивашка, – знать, из ума выжила».

– Да, спешить надо, – бормотала старуха, – ноне еще хуже... жжет... горит... Утрось легла, так среди дороги легла, думала – помираю... Разбойники!..

– Хворает, что ли?

– Хворает! – сердито отозвалась старуха, и одним движением злобным и быстрым она распахнула полушубок и платье. Ивашка, при виде ее обнаженной груди и плеча в пятнах и язвах, невольно отодвинулся от старой.

– И чего кажешь!.. Ну тебя совсем! – выговорил он.

И Ивашка вдруг осерчал на старуху и на весь мир Божий. Бурча со зла и бранясь, он заложил скорей лошаденку, впустил старуху в сани, сел на откос, поодаль от нее, и погнал лошадь рысцой.

Старуха начала тотчас подремывать и клевать носом, потом скорчилась, свернулась клубком, как собака, на дне саней и скоро лежала почти без признаков жизни.

«Знать, пристала старая, много верст, видно, ушла, – подумал Ивашка. – А ну вдруг померла, мертвое тело ввезешь в столицу – прямо в Сибирь! Этакie старые, случается, поми-рают вдруг. И что это она, леший бы ее взял, казала? Чудная хворость... Экая гадость какая... Тьфу!»

Но скоро Ивашка забыл про свою старуху и глядел только вперед.

Народ уже шел по дороге кучами; возы, обозы, сани и дровни уже попадались постоянно. Строения большие и малые появлялись на каждом шагу. Ивашка все ждал, когда начнется Москва, и не знал, что Москва уже началась.

Наконец вдалеке показались по бокам два каменных дома, а среди дороги протянулся пестрый столб. Это была застава и рогатка.

Ивашка сначала даже и не понял, что это за притча. Загорожена дорога! Ну, как не впус-тят да велят повернуть оглобли домой!

Миновав рогатку без помехи и въехав в московские улицы, Ивашка в себя прийти не мог. Глаза у него разбежались на дома, на прохожих и проезжих.

Благодаря праздничному дню, на улицах было особенное движение.

Зазевавшись направо и налево, Ивашка даже забыл про свою старую ведьму, которая все так же без движения лежала в санях, и только проехав несколько улиц, он вспомнил, что не мешало бы облегчить санки.

– Эй, бабушка, бабушка! – начал он будить ее. – Проснись! приехали.

Но старуха не двигалась и не подавала никаких признаков жизни. Долго провозился с нею парень, остановил наконец санки и начал расталкивать ее.

Несколько прохожих подошли к ним и от безделья тоже стали будить старуху да расспра-шивать Ивашку, откуда, куда и зачем он.

Наконец старая пришла в себя. Она огляделась мутными глазами и потом начала бурчать и браниться.

– Приехали! – кричал Ивашка. – Куда тебе надо?

– К Миколу, – отозвалась наконец старуха, – в церковь Миколы.

И на вопрос прохожих, к какому Миколу, так как их в Москве не перечесть, старуха вспомнила наконец, что ей нужно к Миколу Ковыльскому.

Она поднялась из саней, злобно огляделась на всех, попробовала было идти, но зашата-лась и села на снег.

– Аль ты хвораю? – спросил кто-то, но старуха разразилась бранью. Ивашка отвечал за нее, что она хвораю! Бог весть, что у нее, только неродное.

– Уж ты довези ее до места; где ей, старой, идти? – сетовали Ивашке прохожие.

Делать было нечего; парень опять посадил старую ведьму и повез, внутренне недоволь-ный обузой, которую взял на себя.

Расспрашивая прохожих, поворачивая по бесконечным переулкам, то вправо, то влево, часто путаясь и ворочаясь снова назад, парень наконец доставил старуху к церкви Николы Ковыльского. Опять пришлось растолкать и поднять задремавшую старуху. Она опять, с тру-дом выбравшись из саней, не сказала спасибо, а, снова ругая и Москву, и Ивашку, вошла на церковный двор.

Ивашка хотел было отъехать, когда целая толпа ребятишек окружила старую ведьму с клюкой, и поднялся такой веселый гам вокруг нее, что Ивашка должен был опять вылезать из саней и спасать старую от целой стаи буйных головорезов.

Старухе нужно было в дом просвирни. Найти, по счастью, было не трудно. Домик просвирни около колокольни оказался тот самый, к которому они подъехали.

Когда старуха пошла в калитку, ворча и бранясь, а мальчуганы отстали от нее, Ивашка сел в свои сани и поехал.

– Слава тебе, Господи: развязался, – сказал он вслух, – вот этак-то всегда: свяжешься с кем-нибудь ради одолженья, а потом себе хлопот наживешь. И лошаденку-то заморил, бедную.

Действительно, пегий конь едва таскал ноги, а между тем приходилось разыскивать теперь дом прежних помещиков, где жила Уля.

III

Парень Ивашка и девушка Ульяна, его молочная сестра, прозывались когда-то в родном селе и во всей округе: мужицкие дворяне.

Тому назад 25 лет помещик капитан егерского полка, Борис Иванович Воробушкин, выйдя в отставку, купил имение около Рязани и поселился в нем. Вследствие скучной и однообразной жизни, сорокалетний холостяк помещик скоро и легко пленился до страсти одной 18-тилетней крестьянской девушкой, собственной крепостной. Девушка эта немедленно переселилась в усадьбу помещика, а через года два появился на свет ребенок – девочка, которую назвали по имени матери Ульяной. Борис Иванович стал тотчас подумывать о женитьбе на своей крепостной. Дело это было заурядное, и, кому ни заявлял бы об своем намерении Борис Иванович, никто не удивлялся. Но через несколько недель после рождения ребенка мать вдруг умерла при таких странных обстоятельствах, что в вотчину чуть не нагрянули начальство и суд.

Сама ли она отравилась или была отравлена – осталось покрыто мраком неизвестности. Во всяком случае, Борис Иванович страшно горевал и всю свою любовь перенес на крошечную девочку, носившую дорогое ему имя.

Маленькой Уле достали тотчас с села кормилицу, и не только все баловали всячески новорожденную, но даже ласкали и баловали до безобразия кормилицу, из страха неосторожным словом как бы не испортить молока ее. Вследствие этого баловства и обилия молока решено было и ее новорожденного сына Ивана тоже взять в дом и дозволить кормить обоих младенцев. Через несколько лет Уля и мальчуган Ивашка, молочные брат и сестра, жили оба в доме Бориса Ивановича, как бы собственные дети. И вдруг, как-то невзначай, неизвестно когда, присоединилось к ним и прозвище, на которые падок народ. Уля и Ивашка были прозваны «мужицкие дворяне».

Дети жили как голубки, обожали друг друга, и, по странной случайности, было в них даже что-то общее. Когда обоим минуло по 12-ти лет и они еще не знали, а только смутно начали было понимать от разных обмолвок дворни, что Борис Иванович Уле отец наполовину, а Ивашке совсем не отец, случилось вдруг нечто простое, но имевшее огромное для них значение.

Борис Иванович скоропостижно скончался! Месяц спустя приехал в вотчину вступать во владение всем имуществом брат покойного, офицер морской службы, Капитон Иванович Воробушкин. Его приезд в вотчину ждали все как бы светопреставления! Но все ошиблись: ничто в доме не изменилось. Капитон Иванович полюбил свою племянницу почти так же, как любил ее отец. Мальчуган Ивашка остался тоже в усадьбе. Капитон Иванович относился к нему хладнокровно, но, однако, Ивашке жилось так же хорошо, как и прежде; его не обижали. Прошло так еще около четырех лет. Капитон Иванович переехал в город Рязань, вскоре же вдруг женился, и сразу все изменилось в жизни «мужицких дворян».

Парня Ивашку тотчас отправили из города на село к его матери, а 16-тилетней Уле, уже девице, а не девочке, житье стало трудно. Супруга Капитона Иваныча, Авдотья Ивановна, была полурусская, полунемка, известная в Рязани повивальная бабка. И прежде не отличалась она кротостью нрава, но, сделавшись вдруг барыней, вскоре начала так чудить, что не только Уле, но и самому Капитону Иванычу приходилось несладко.

Не прошло года после женитьбы, как Воробушкины, по настоянию Авдотьи Ивановны, уехали из Рязани в Москву. Авдотья Ивановна говорила, что настоящие дворяне должны жить в столице, что она желает обзавестись знакомством и жить по-барски.

Воробушкины переехали в Москву, а Уля была отправлена, несмотря на все просьбы Капитона Ивановича, к своей кормилице.

«Мужицкие дворяне» были снова вместе, но при совершенно иных условиях. После жизни в усадьбе с добрым Борисом Ивановичем, а потом с Капитоном Ивановичем им было теперь мудрено жить в маленькой, ветхой избенке кормилицы и помогать ей в работах.

Женщина добрая и умная считала, конечно, Улю барышней и не позволяла ей ничего делать, тем более что получала за это частые подарки от барина из Москвы. Зато Ивашке приходилось нести на себе много тягостей простого мужика, о которых он знал лишь понаслышке, когда жил в усадьбе. Уля могла помогать любимому брату только тайком от кормилицы. Через четыре года, после отъезда Воробушкиных, имение и крестьяне были очень дешево проданы, а племянница помещика, Уля, была вдруг вытребована к ним в Москву. Девушка не знала, радоваться ли этому. Ей чудилось, что не на радость поедет она. Досыта наплакавшись, молочные брат и сестра расстались.

Ивашка, оставшись один с матерью, сильно переменялся. И прежде был он негоден на многое, что приходилось делать, а теперь окончательно прослыл за шального и порченого. Вдобавок женщина стала все более баловать сына-полубарчонка и делала уже сама все, что следовало бы делать ему. Она и сеяла, и пахала, и работала и за себя, и за него. Недолго длилась эта жизнь праздного шатуна Ивашки. Однажды, отправившись в крещенский мороз в соседний лесок тайком срубить ель на дрова, т. е. на порубку, женщина была поймана, высечена и сдана в городской острог. От всего происшедшего, – быть может, от перепуга, быть может, и от наказания розгами, – она заболела, сидя в остроге, и, прежде чем суд успел решить, что с бабой делать, она была уже на том свете.

В следующую за тем весну, когда начались посевы, Ивашка оказался вполне ни на что не годным. Он только и знал, что пел песни, отлично играл на балалайке или сидел по целым часам молча, о чем-то раздумывая и глядя на всех бессмысленными, будто мертвыми, глазами. Случалось тоже, что вместо работы он брал уголь, а то и просто макал руку в грязь и мазал по заборам, везде где случится, какие-то рожи, или зверей с ногами и хвостами, или Бог весть что.

Мужики Ивашку ругали, били, секли... но ничего не помогало.

Наконец, протерпев все штуки порченого парня, мир собрался и спровадил его... на все четыре стороны.

Судьба господ между тем за все это время несколько изменилась. Когда супруги Воробушкины переехали в Москву, то наняли большой каменный дом на Пречистенке, выписали много людей из своих двух вотчин, обзавелись как всем необходимым, так и всем тем, что только попадалось на завидующие поповы глаза Авдотьи Ивановны. Они зажили на широкую и барскую ногу.

В новых знакомых недостатка не было, тем более что Авдотья Ивановна, корчившая важную барыню, приглашая гостей, охотно и любезно всех кормила, поила и даже давала деньги взаймы.

Капитон Иванович вскоре же начал замечать своей супруге, что при их маленьком достоянии скоро не на что будет жить, но Авдотья Ивановна и слышать ничего не хотела.

Действительно, через год, два жизни в Москве они уже переехали на другую квартиру, поменьше первой, причем продали часть имущества и несколько человек из выписанных дворовых людей. Еще через два года Капитону Ивановичу пришлось продавать имение, полученное от брата, и у него оставалось только свое собственное – маленькое, бездоходное, степное. Еще через год Воробушкины переехали уже на Ленивку, в маленький мещанский домик.

После двух десятков прислуги у них оставалось теперь только две женщины и приходилось уже подумывать о продаже последнего степного имения.

Авдотья Ивановна не унывала и все по-старому тратилась всячески. На все доводы мужа она отвечала, что их достояния на их век хватит, но главная досада ее была в том, что по мере того, что они переезжали с одной квартиры на другую и продавали то, что имели, круг знакомых также уменьшался и изменялся.

Когда они явились в Москву, у них все-таки бывал кое-кто из видных лиц города; теперь же, по злобно-насмешливому выражению Капитона Иваныча, осталась у его супруги только одна приятельница, да и та вдова расстриженного попа.

На своей настоящей квартире, на Ленивке, Воробушкины уже жили теперь совсем на мещанский лад, перебиваясь оброком, получаемым из степного имения.

Авдотье Ивановне было обидно до зарезу, что приходилось жить попроще, и она стала изыскивать всякие средства доставать денег. Еще когда-то в Рязани, будучи повивальной бабкой, она слыла за женщину, у которой много разных сереньких дел и сереньких знакомств, помимо родильниц и новорожденных, и только такой добродушный и чистый душою человек, как Воробушкин, мог жениться на ней. Конечно, Авдотья Ивановна, теперь, после замужества, растолстевшая и обленившаяся, в то время была очень тонкая и бойкая женщина. Она тогда сразу поняла, что за человек дворянин Воробушкин, и в два месяца сумела его заставить на себе жениться. Теперь, протратившись в Москве, Авдотье Ивановне приходилось снова помянуть стариной и изыскивать окольные пути добывания денег.

Воробушкин чуял что-то нехорошее, но был, однако, еще не вполне уверен, что жена срамит его дворянское звание и имя. Капитон Иваныч был чистейшая и честнейшая душа, никогда не спускавшаяся вполне и не погружавшаяся без боли в дразги житейские. Он вечно и пылко, по-юношески, витал разумом в таких пределах, которые были совершенно недоступны его супруге.

IV

Еще юношей, восемнадцати лет, Капитон Иванович был отвезен отцом в Петербург и отдан в морской корпус. Как и почему попал молодой Капитоша в моряки, он не знал. Он стал учиться прилежно и скоро был выпущен унтер-лейтенантом во флот. Сражаться молодому Капитону, конечно, ни разу не пришлось, и он вышел в отставку тотчас по получении известия об «вольностях дворянских», дарованных государем Петром III. Но плаванья, путешествия, хотя не далее берегов Швеции, сделали из Воробушкина такого человека, про которого говорили теперь, что он многое знает, многое видал и очень занимательный собеседник. Действительно, когда Капитон Иванович рассказывал соседям по вотчине о Финляндии, о разных городах, имена которых его слушатели не могли даже сразу выговорить, не только запомнить, то соседи слушали, разиня рты, а сам Воробушкин чувствовал невольно свое превосходство перед многими другими дворянами. Сызмала Капитон Иванович был из того же сорта людей, к которому принадлежали теперь его любимцы Уля и Ивашка. Он больше любил смотреть на небо, на облака и звезды, чем на землю. Он любил гулять по лесу, но не ради хозяйских забот, а ради собирания грибов. Он любил ходить по хлебоборбным нивам, но тоже только затем, чтобы, нарвав пучок васильков, принести их домой и поставить в воду. В каком виде уродился его хлеб, он при этом не замечал и не любопытствовал даже заметить. Зимой, любя цветы, он заводил горшок с розаном, поливал его аккуратно и любил так же, как Уля, заведя зяблика или овсянку, ходить за ними, разговаривать с ними. Так же как Ивашка, любил он бывать в церкви, подтягивать на клиросе дьячку, ставить и поправлять свечки у образов, подавать кадило, носить образ или хоругвь в крестном ходу. И странное дело! Морская служба, дежурство на корабле в тихие, летние ночи, путешествия к чужим берегам, встреча с матросами и моряками разных стран света, выслушивание рассказов о дальних пределах, об Америке, Африке, Японии – все это еще более развило в Капитоне Ивановиче и укрепило то неуловимое и неясное ему чувство, которое было теперь так чуждо его супруге. И немудрено, что, наследовав от брата вотчину, где оказалась Уля, он полюбил девочку тотчас за те наклонности, которые оказались в родной племяннице Уле, уродившейся действительно в него, в своего дядю. А Ивашка, – который не был ни ему, ни Уле родней, – по счастью, оказался тоже их поля ягодой.

И первое время в вотчине покойного брата все трое зажили на славу. Ивашка любил песни и выдумывал свои собственные, пел их на свой самодельный лад. Уля не умела петь, но любила слушать песни. Капитон Иванович проводил по два, по три часа, в особенности в сумерки, в саду, в том, что мурлыкал тоже какую-то странную песенку, которую он называл «шведским романцом».

По переезде в столицу на жительство Воробушкин зажил по-своему.

Капитон Иванович знал всю Москву, и вся Москва знала Капитона Ивановича. Он очень любил знакомиться – привычка, оставшаяся еще от морской службы и путешествий. Он говорил, что всякий новый знакомый непременно расскажет что-нибудь новое. Действительно, у Капитона Ивановича, при его любознательности, была особенная способность из всякого выпытать все, что только возможно.

От самых именитых вельмож и до последнего дворника. Капитон Иванович знал каждого в лицо, знал по имени, знал чуть не всю его подноготную. Когда он шел по Москве, то ежеминутно слышал около себя, направо и налево, привет и поклон, и всякий обращался к нему особенно любезно и ласково. Не было человека, которому бы Капитон Иванович был не по сердцу. Добрая и честная душа его будто чуялась всяким в маленьких глазах его, в ясном лице, в улыбке, в голосе.

К довершению всего, Капитон Иванович особенно любил услужить, одолжить, схлопотать всякому, елико возможно. Постепенно, незаметно для него самого, у Воробушкина явился

такой громадный запас всяких знаний, что он иногда действительно удивлял некоторых знакомых. И эти знакомые, что бы у них ни случилось, всегда обращались к Воробушкину.

Священник не стыдился обратиться к Капитону Иванычу с вопросом, касающимся до религии, и Воробушкин, зная не только все церковные службы наизусть, но и прочитавший кой-какие священные книги, мог многое пояснить. Помещик спрашивал Капитона Иваныча насчет молотбы или посева в заморских землях, и хотя Капитон Иваныч из всего заморского видел только один остров Гохланд², Свеаборг³ и Стокгольм, однако отвечал кое-что и, ничего почти не понимая в российском немудреном хозяйстве, толковал об мудреном заморском.

Всякий прихворнувший из знакомых или заболевший опасно, приняв все меры, все-таки посылал к Капитону Иванычу спросить совета, и Воробушкин являлся вдруг в качестве медика и случалось, что вылечивал гораздо лучше, скорей, чем настоящий знахарь. Кузнец обращался к барину с вопросом о ковке лошадей. Дворнику Капитон Иваныч объяснял, какая метла или лопата лучше, как ее следует держать. И, в порыве увлечения и поучений (а Воробушкин все делал с увлечением), барин не стыдился взять вдруг метелку в руки и начинал для примера усердно мести улицу первопрестольной столицы. За этим занятием застал его однажды знакомый сенатор и перестал ему потом кланяться.

В подобных случаях Авдотья Ивановна выходила из себя и говорила, что муж позорит свое дворянское происхождение. Но Капитон Иваныч каждый раз на подобное замечание отвечал:

– Не тебе, чухонке, меня дворянскому обхождению учить!

Даже разносчики города Москвы, которых не только десятки, но даже сотни ежедневно и ежечасно проходили мимо ворот и окон дома Воробушкина, тоже заستاивались с знакомым баринком, толкуя с ним подолгу, советуясь насчет своего товара. И на всякий вопрос и всякое сомнение как важного вельможи, так и простого мужика, Капитон Иваныч мог дать неглупый совет, слышанный от кого-либо когда-либо.

Это происходило, конечно, от громадной его памяти; но Капитон Иваныч и не догадывался, что есть на свете такая особенная способность, называемая памятью, и что есть люди, у которых такой способности нет. Он думал, что во всякой голове все, когда-либо виденное и слышанное, непременно с пользой остается навеки.

Единственные люди, с которыми Капитон Иваныч не любил знакомиться и избегал, елико возможно, даже отчасти боялся, были подьячие, судейские крючки разных палат и коллегий.

Воробушкин даже додумался сам до того открытия, что подьячие – прямые потомки Иуды Искарриота. Так как московские подьячие составляли нечто вроде особой касты, подобно духовенству, то Капитон Иваныч и мог прийти к этому предположению. Одного только не знал он, и хотя спрашивал у многих священников, но добиться толку не мог, был ли Иуда Искарриот⁴ женат и были ли у него дети, прежде чем он предал Христа и повесился.

Вопросы вроде этого, церковные и иные, особенно занимали любознательного Капитона Иваныча. Иногда, додумавшись до чего-нибудь, он носился с своей мыслью целый месяц и передавал ее каждому встречному и каждому новому знакомому, и всегда кончалось тем, что вопрос так или иначе разрешался.

Капитон Иваныч и Авдотья Ивановна, почти с первого же года женитьбы, зажили, как кошка с собакой. Хотя Воробушкин был кроткого нрава, ладивший со всеми, но с такой особой, как его супруга, ладить было совершенно невозможно. Если когда он пробовал соглашаться со всем с женой и отмалчиваться, то все-таки и тогда были ссоры, потому что Авдотья Ивановна начинала придирается и к тому, что муж все соглашается и, что ему не скажешь, все молчит.

² Гохланд – скалистый остров в Финском заливе, принадлежавший России с 1743 г.

³ Свеаборг – основанный шведами во второй пол. XVIII в. город в Финляндии; с 1809 г. – в составе России.

⁴ Иуда Искарриот – в Новом завете один из апостолов, предавший своего учителя Христа за 30 сребреников.

– Вишь, умница какая! Петух сусальный! Словом подарить не хочет! – начинала браниться Авдотья Ивановна.

И действительно, супруга подметила верно. Воробушкин, в особенности когда надевал свой мундир, при своем маленьком росте, быстрый в движениях, с большими толстыми ногами, невольно смахивал чуть-чуть на тех петушков, вымазанных краской и сусальным золотом, которые продавались разносчиками на всех углах столицы.

Жизнь супругов шла особняком. Капитон Иваныч старался удалиться от бранчливой супруги всячески, а Авдотья Ивановна от зари до зари сидела у окошка квартиры – глядела на проезжающих и прохожих.

Сначала, в первый год жизни в Москве, она сидела у окна в позолоченном пунцовом кресле, расфранченная, в кружевах и бантах. Теперь же, в маленьком домишке на Ленивке, Авдотья Ивановна сидела у окна на рваном кресле, с двумя простыми спальными подушками за спиной, и уже не расфранченная, а по исконному российскому выражению – «растерзанная». Когда-то она считала для дворянки и офицерши необходимым вышивать что-либо бисером, и делала это, хотя не любила вообще никакой работы. Теперь же ей приходилось, глаза у окна на прохожих, вязать чулки и фуфайки уже по необходимости, ради продажи. За последний год, исключая ссор с мужем, Авдотья Ивановна почти не сходила с своего места у окна. Сюда приносили ей утренний чай, здесь же она и умывалась, здесь и обедала, в разные с мужем часы.

Капитон Иваныч, с своей стороны, с утра уходил из дому и бродил положительно по всей Москве, по своим бесчисленным знакомым, и везде бывал принят с распростертыми объятиями. Всякий, при виде его, начиная с сановника и кончая купцом, священником, встречал его с искренним, внезапным восклицанием:

– Ах, Капитон Иваныч! – и в восклицании слышалось неподдельное довольство. – Ах, как хорошо, что зашли! Мне у вас спросить надо.

И знакомый тут же спрашивал что-нибудь, по-видимому, совершенно не касающееся Капитона Иваныча.

Вообще – зачем, как и в какой недобрый час дворянин Воробушкин женился на рязанской повивальной бабке последнего разбора и получухонке – было покрыто мраком неизвестности. Часто думала об этом Уля и вздыхала тяжело. Кабы не барыня – что бы за жизнь их была!

Между мужем и женой было так мало общего, что им случалось побраниться иногда даже из-за такого пустяка, который вовсе не касался их обыденной жизни. Так, однажды, отправившись летом, еще до приезда Ули, прогуляться на Воробьевы горы, Воробушкины запоздали там. Капитон Иваныч пришел в такое восхищение от вида на всю Москву, от Головинского дворца и сада и от всей прогулки, что, сладко улыбаясь супруге, чуть не первый раз с самого медового месяца, предложил посидеть еще часок лишний и полюбоваться видом, когда поднимется луна на небе. Авдотья Ивановна, давно изучившая мужа, все-таки невольно выпучила на него глаза.

– Что же мы тут будем делать? – спросила она.

– А вот, когда встанет луна, – прошептал, все улыбаясь, Капитон Иваныч с сияющими глазами, – да пойдет она по небу и начнет светить на нас, и на Воробьевы горы, и на Москву, то, должно быть, будет удивительно...

– Да что?

– Все! Все...

– Что удивительно-то?

– Да все же, все!..

Авдотья Ивановна закачала головой и, поняв наконец, в чем дело, заговорила не только презрительно, во даже сожалеючи супруга:

– Ах ты шальной!.. Ах ты дура, дура!.. А еще помещик, офицер царской службы!.. Ведь это никакой парнишка деревенский, никакой крестьянский сопляк такой глупости не выдумает

и не предложит. Сиди, вишь, до ночи на горе за пять верст от дому! Зачем? На небо да на луну посмотреть. Да разве она, дурак ты этакой, у нас-то не светит? разве ты ее из окошек не выдаешь всякий день?

И слово за слово, благодаря особенному восторженному настроению Капитона Иваныча, которое вдруг разрушила своими словами его супруга, муж и жена страшно поругались на краю горы, в виду, так сказать, всей Москвы. Кончилось тем, что Авдотья Ивановна отправилась домой одна, а Капитон Иваныч, уже не ради наслаждения, а на смех жене, просидел на Воробьевых горах, голодный и холодный, вплоть до утра, а затем, вернувшись, объявил жене, что будет ей назло всякую ночь ходить на Воробьевы горы на луну глядеть. Часто вспоминал потом Воробушкин этот случай, но трудно было решить, кто из двух супругов был тут виноват.

Уля, по приезде, решила эту прошлую ссору супругов беспристрастно и справедливо.

– Вы сами, Капитон Иваныч, – сказала она, – совсем виноваты. Нешто можно такое предлагать Авдотье Ивановне? Мы с вами люди простые, нам и любопытно на луну, на звездочки любоваться, а нешто Авдотья Ивановна, занятая разными делами, может это такое делать?..

– Правда, – отвечал Капитон Иваныч, – и я дурак, что с ней, чухонкой, по сердцу разговариваю. А все ж таки скажу, прости мне Господь Бог, а я вот как чувствую... Всей душой чувствую... такое, чего она не смыслит! Я, Уля, сокол, а она свинья... Я это многим разъяснял, и все со мной согласны!

Авдотья Ивановна оставляла мужа спокойно болтаться по Москве и «галок считать», как она выражалась, но во всем, что касалось дома, хозяйства и их домашних дел, она не уступала мужу ни пяди, и все творилось по ее воле.

Таким именно образом за последнее время и было растрачено почти все состояние и было распродано почти все, что можно было продать. Капитон Иванович сердился, кричал, бранился, но все-таки кончалось тем, чего желала супруга, и тогда Капитон Иваныч, махнув рукой, уходил из дому иногда на два, на три дня и не ночевал даже дома.

За год перед тем Авдотья Ивановна, распродавшая тех дворовых, которых привезла с собой, продала наконец и человека Василия Андреева, жившего у Воробушкиных много лет, и любивший его барин не мог ничего сделать.

И главная беда, главная обида Капитона Иваныча заключалась в том, что Авдотья Ивановна продала лакея в одни руки, господину Раевскому, а жену его, очень красивую женщину, – в другие руки, бригадиру Воротыньскому, старому греховоднику, который купил Аксинью вовсе не в услужение.

Василий Андреев, прежде человек смирный и трезвый, стал пьянствовать и, уходя из дому барыни, погрозился, что он из-за нее в каторгу пойдет. Но Авдотья Ивановна была не из тех барынь, которых этим можно было испугать.

За последнее время у Авдотьи Ивановны явился новый план. Давно уже, около года, была у нее одна мысль, но, несмотря на свое презрение к мужу, она все-таки не решалась долго заявить об этом. Она чувствовала, что это намерение уже черезчур поразит мужа и поведет к целому ряду крупных ссор, а пожалуй, и больше того. Капитон Иваныч, пожалуй, Бог знает чего наговорит! План этот касался уже их мужицкой дворянки, т. е. красавицы Ули. Действительно, сказать об этой новой затее Капитону Иванычу было даже и для Авдотьи Ивановны несколько страшно.

V

24-го ноября солнце, сиявшее перед Ивашкой, ярко светило и в окошко беленькой горенки в мезонине небольшого серого дома на Ленивке... Весело, празднично льются и сияют золотые лучи чрез причудливые узоры, что разрисовал мороз на стеклах окошечка. Вся горенка была всегда светла, сама по себе от белой, без единого пятнышка, штукатурки стен и потолка, от нового белого пола, от кровати с белым, как снег, одеялом и белой кисейной занавеской. Теперь же, от яркого солнца зимнего, золотисто-красного, белая горенка блестит и светится как-то особенно чудно. Заглянуть бы кому-нибудь в эту горенку, и он непременно, тотчас бы заметил, почувствовал, что не похожа эта горенка на другие! А что в ней такого особенного? Ничего!

Горенка эта вся белая, золотистым огнем горит в лучах солнца, которые будто играют, переливаются по стенам и на полу. У стены снежно-белая девичья кровать, несколько ясеневых стульев, маленький комод под белой салфеткой, в углу киотик и четыре простые иконы без риз. Над ними свесилась старая верба от прошлого еще праздника; пред ними лампадка стоит, а около нее пузырек со святой водицей и вынутая просвира, сухая, потрескавшаяся, тоже полугодовая. У окна узорчатого столик и на нем корзинка. На окне клетка, и в ней серая кургузая пичуга попрыгивает от зари утренней до зари вечерней.

Вот и вся горенка – и все, что в ней есть!..

Да, но в ней еще в белом платье и переднике девушка Уля сидит перед столиком у окна. Вот от Ули, знать, вся горенка-то и имеет чудный вид. Уля – душа этой горенки...

Кажется, что, и не зная, можно было бы догадаться, что это горница Улина. Ее лицо, чистое, светлое, и взгляд ее больших ясно-серых глаз, и милая ласковая улыбка веяному сразу выдают ее душу, тоже ясную, чистую, добрую, и всю вот... как на ладони!..

Глянет Уля на нового человека – и кажется, будто глаза и губы ее, все лицо вечно-безмятежно радуются чему-то и будто говорят кротко:

«Нате!.. Вот я!.. Вся тут! Хотите – любите, хотите – нет...»

И новый человек невольно взглянет на Улю тоже весело и тоже кротко. И ему покажется, что он Улю давным-давно знает. И тотчас же новый человек догадается, что, однако, очень мудреного говорить Уле не надо и мудреного с нее взыскивать тоже не надо... А все то простое, и Божье, и человеческое, все то, на чем мир стоит, Уля лучше всех давно поняла, знает, чувствует! Как в ней самой, на душе ее ясно ей все и понятно, так и вокруг нее в мире, – тоже все ясно ей и понятно.

И Уля похожа, право, на свою горенку. Так же чиста, и бела, и светла она и лицом, и душой, как светла горенка. Как золотые лучи солнца проливаются теперь сквозь хитрые узоры окна в белую горницу, так же иной теплый и ясный свет, не всякому ведомый, проливается в душу Ули, когда она одна по целым часам сидит здесь за столиком с работой в руках, а мысли ее тихо по миру бродят. И этот свет душевный не сияет ярко, не блещет, а будто тихо мерцает в ней, как лампада, и тихо отражается на ее губах, в кроткой улыбке, в ее безмятежном светло-сером взгляде.

– Славная она какая! – тотчас же говорит или думает про Улю новый человек.

Молодой глянет на нее и присмотрится еще, покосится так, что Уле иной раз надо поневоле глаза опустить... Старый глянет – повеселеет, будто старая душа встрепенется в нем... Злюка иная глянет на Улю и отвернется тотчас, как сова от луча солнечного, как грешник от иконы и лика угодника. А ребята большие и малые, от грудного младенца до большущего буяна и головореза, – все лезут и липнут к Уле, как мухи на мед. Взрослый подросток все ей свои затеи поверяет, а грудной младенец сейчас начнет приглядываться к ней, будто глядеться в свет ее глаз, надеясь увидеть там то самое, что еще недавно знал... пред тем, что сюда прийти,

в этот мир!.. И младенец, пристально взглядевшись в этот лучистый свет Улиных глаз, тотчас усмехнется, – для людей простовато, глупо, а на деле мудрено, хитро; будто, переглянувшись с Улей, поняли они оба такое, что другим людям неведомо и непонятно, про что они – себе на уме – одни с ней знают!..

Уля почти целые дни сидит здесь в своей горнице и шьет, покуда светло на дворе. Много дает работы Авдотья Ивановна... Конца ведь и не будет этой работе, потому что барыня не на себя, а чуть не на всю Москву шьет ее руками и поставляет всякое белье. Сидит Уля с утра до обеда, а пообедав, накинёт на плечи шубку, выглянет за ворота на минуту, подышит морозным воздухом, пробежит по льду на тот берег Москвы-реки или до угла Пречистенки, иногда сбегает до церкви к знакомой просвирне на минутку, и опять домой. И такая же веселая, только румянее от мороза, вбежит по крутой лестнице в свой мезонин и опять сядет работать. Иной раз, однако, она долго держит шитье в одной руке, иголку в другой, – и обе руки лежат недвижно на коленях, а глаза ее устремились на любимца чижики в клетке и глядят ласково, как он прыгает, чиркает лапками по жердочкам, клюет семя и попискивает свою однообразную, немудреную, безобидную песню.

Уля любит своего чижики особенно потому, что ей кажется, будто его жизнь в клетке и ее жизнь в мезонине – та же самая – простая, одинокая, будто никому не нужная, ни миру Божьему, ни людям, ни себе самому. Сдается невольно, что и этому чижику, и Уле равно незадача какая-то на свете! И правда, чижики тоже удивительная пичуга. Точно его Бог чем обидел, и будто он покорно принял это, как бы неизбежное, заслуженное, и без попреков, смиренно покори́лся своей судьбе.

В этот день ясный, праздничный Уля все-таки сидела за работой, но ей было как-то не по себе, она тревожно поглядывала и прислушивалась вокруг себя. Внизу слышались громкие голоса барыни и Капитона Иваныча. Будто предчувствие чего-то сказывалось в Уле, и работа не клеилась. Все чаще оставляла она иголку и задумывалась, вспоминала последние слова и взгляды барыни – особенные, многозначительные, обещавшие мало добра, много худого...

Со всяким худом кротко, многотерпеливо и смиренно сживалась Уля, говоря:

– Видно, такова моя судьба.

Но за последнее время надвигалась страшная гроза на ее серенькую, скромную и безобидную жизнь, и Уля чуяла невольно, что даже при всем ее вечном смирении и покорности судьбе мудрено будет пережить эту грозу. Она чуяла, что Авдотья Ивановна и вдова расстриги обе затевают что-то...

Уля знала, что имущество Капитона Иваныча было формально передано когда-то жене по слабости характера, и теперь остатками этого имущества Авдотья Ивановна и по закону могла распоряжаться, как хотела. А Уля, по продаже рязанского имения, осталась за ними... Тогда Капитон Иваныч не захотел продать свою крепостную племянницу, а выписал из купчей. Он хотел, напротив, устроить ей вольную и собирался сделать это постоянно... и не собрался! И все его имущество, и крепостные были уже теперь не его, а Авдотьи Ивановны. На просьбы его отпустить его племянницу на волю барыня-супруга обещала... завтра и на днях, с весны до осени и с осени до весны...

VI

Ивашка, сбыв с рук старуху, начал расспрашивать прохожих о том, где Ленивка.

Через час путешествий по улицам Москвы он нашел наконец дом Воробушкиных. Среди тени и грязи, между десятками маленьких деревянных домиков, нашел он тоже небольшой домик, неопределенного цвета, серый не от краски, а от времени и ветхости. Подивился он, в каком плохом домишке поселились его прежние господа. Такая ли бывшая их усадьба на селе! Ивашка въехал на грязный двор и, увидя какую-то женщину, выглядывавшую из сарая, переспросил на всякий случай, здесь ли живет барин, Капитон Иванович Воробушкин,

– Здеся, здеся, – отозвалась женщина, – тебе что нужно? Дело какое? Ты повремени... У них ныне с утра шум.

Ивашка, вылезший из саней, вопросительно глядел на женщину.

– Повремени, – продолжала она, – с утра шум... Подрались еще до обедни. Чего глаза выпучил?

Ивашка прислушался, и действительно, в маленьком сереньком домике слышались голоса, и, несмотря на то, что он давно не видал Капитона Иваныча и его супруги, он узнал голоса обоих.

Ивашка спросил про Улю. Женщина сказала, что барышня у себя наверху, и вызвалась пойти ее назвать.

Через несколько минут показалась на крыльце красивая, стройная фигурка в простом белом платье и удивленно оглядела двор. Уле странным показалось, что какой-то приезжий, чужой человек спрашивает ее, и, ожидая каждый день какой-нибудь неприятной нечаянности, она уже испугалась известия. Но вот она увидела приезжего и опрометью бросилась к нему и повисла у него на шее.

– Иваша! Иваша! – залепетала она и, не имея сил от радости произнести что-либо, молча потянула его за руку в дом.

– Пойдем ко мне, – шепнула она в сенях, – у нас внизу с утра идет война. Бедный Капитон Иваныч! Чую, что из-за меня.

Девушка провела Ивашку к себе в мезонин, усадила и стала расспрашивать. Ничего особенного не мог ей передать молодой парень. Единственное известие, которое могло затронуть Улю за живое, была смерть матери Ивашки и ее кормилицы, о которой она ничего еще не знала. Скоро все новости Ивашки истошились.

– Ну, ты что? Как поживаешь? – спросил он Улю.

Грустно взглянула она в лицо своего молочного брата, вздохнула и понурилась.

– Что я? Всякий день жду, что попаду Бог весть куда. Капитон Иваныч ко мне ласков по-старому и из-за меня много терпит. А уж Авдотья Ивановна, Бог с ней!.. Не мне одной от нее плохо приходится. У нас ведь, Иваша, всякий день крик и ссоры. Капитон Иваныч с утра до вечера пропадает из дому, уж больно ему тошно становится от нее.

– А она, верно, к тебе привязывается, – заметил Ивашка, – ведь ей нужно с кем-нибудь браниться.

– Да, ко мне, – отозвалась Уля и задумалась.

Видно было, что она особенно озабочена какой-то одной мыслью. Раза три или четыре во время веселой и радостной беседы с Ивашкой она задумывалась и вдруг не слушала, что он говорит.

Ивашка хотя давно не видел ее, но прежде хорошо знал и угадывал малейшее движение ее души.

– Да ты что? С тобой что? Замуж тебя, что ли, прочат силком? – спросил он наконец.

– Нет, какое замуж... Кто на мне женится!.. Я и здесь, в Москве, с тем же прозвищем осталась, как и вас на селе с тобой звали...

– Мужичьи дворяне! – рассмеялся Ивашка. – Ну, так, знать, Авдотья Ивановна на тебя замышляет что-то?

– Конечно.

– Да что же такое?

– После скажу. Теперь ты лучше расскажи, что будешь делать, как будешь жить. Здесь, в Москве, мудрено, и я все о тебе думала. Тебе бы в певчие поступить к какому-нибудь вельможе. Житье хорошее, берегут ради голоса. Только одно: вина пить не позволяют; да ведь ты же и не охотник до него.

– Да, это хорошо, – задумчиво проговорил Ивашка, – а куда я просто куда батраком наймусь.

– Лакеем? – спросила его Уля.

– Это что такое?

– А это здесь зовут. Значит, служитель в горнице.

– Чудно, – отозвался Ивашка.

Уля хотела что-то заговорить, но к ней в комнату пришла кухарка Агафья и позвала вниз к барыне.

– Авдотья Ивановна беда как осерчала, – объяснила она. – Увидела она его лошадь с санками, спросила: чьи? Сказала, что он у вас сидит, она и озлилась. Идите вниз.

Ивашка немножко перетрухнул от непривычки, но Уля была совершенно спокойна и ясно улыбалась.

– Ты, голубчик, не робей; ты вот отвык... а мне теперь скажи, что она хоть с ножом в руке бегает, так я не боюсь. Хуже того, что было, не будет.

И друзья отправились вниз. Капитона Иваныча уже не было дома, и внизу у Авдотьи Ивановны сидела в гостях ее приятельница, мещанка Климовна, вдова расстриги попа, с которой у барыни были теперь всегда разные тайны.

«Распопадья», как называл ее Капитон Иваныч, исполняла разные поручения разных барынь. Она была вхожа во все московские дома, знала все московское барство и являлась ежедневно, но, конечно, с заднего крыльца и через девичью. Она, подобно Воробушкину, знала всю Москву, и вся Москва ее знала, но встречала презрительно.

Теперь она сидела у Авдотьи Ивановны, ела принесенный ей из кухни студень и таинственно, шепотом, объясняла Авдотье Ивановне, что она все ее мудреное дело справила, что не нынче завтра все будет кончено.

– И про Сидорку-портного там сказано, и про попугая сказано. Все как следует! – таинственно говорила Климовна. – От меня, стало быть, известиться?

– Ну да, от вас. Вы укажете, где попугай и где портной. Ну ладно... Только бы мой сусальный петух не взбунтовал через меру... – прошептала Авдотья Ивановна задумчиво.

Когда Уля вошла в горницу, обе прекратили свою тайную беседу. Климовна, хитро улыбаясь, расцеловалась с Улей, Авдотья Ивановна сердито спросила: где Ивашка?

– Тут, в прихожей... прикажете позвать?

– Вестимо. Он, поганец, должен был прямо к барыне идти, как приехал, а не к тебе на вышку. Хоть и продана вотчина и не мой он, а все-таки должен уважить барыню.

Ивашка вошел в горницу, слегка робея, и поклонился.

– Здравствуй, шальной; зачем пожаловал? Думал, Москва без тебя не простоит...

– Всем миром, Авдотья Ивановна, порешили и отправили меня. Сказывают: не гожусь.

– Что же? Тут-то, полагаешь ты, что годишься? Что ты будешь делать?

Ивашка объяснил, что наймется куда-нибудь в услужение, а до тех пор просил позволения остаться в доме у барыни.

Авдотья Ивановна задумалась. С одной стороны, она понимала, что к мужнину полку прибыло, что Капитон Иваныч, Уля и Ивашка будут теперь заодно и против нее в каком бы то ни было деле. С другой стороны, Авдотья Ивановна уже разочла, что можно отобрать у Ивашки санки и коня за постой и продать.

После минутного молчания она произнесла нерешительно:

– Ладно, оставайся; там видно будет.

И тотчас, к удивлению Ули, Авдотья Ивановна стала собираться и одеваться, чтобы идти вместе с Климовной куда-то по делу.

Уля невольно широко раскрыла свои красивые глаза и, не сморгнув, глядела на одевавшуюся барыню. Отсутствие ее из дому с Климовной предвещало всегда что-нибудь очень дурное.

Когда обе женщины вышли из дому, Уля села на первый попавшийся стул и глубоко задумалась.

VII

Ивашка долго стоял молча над Улей, с грустным выражением лица, почти даже с глупым выражением, и смотрел на ее поникнутую голову, бессознательно рассматривал красивый ровный пробор ее светло-русых волос. В голове его вертелась все одна и та же мысль: как пособить горю, как избавить Улю от Авдотьи Ивановны? И вдруг, словно надумав нечто очень умное и важное, он выговорил быстро:

– Уля, знаешь что?.. всем бы бедам конец – выходи ты замуж.

Уля подняла на него голову и глянула с изумлением.

– Что?!

– Выходи, говорю, замуж.

Уля, несмотря на свое грустное настроение, звонко и весело расхохоталась.

– Чего ты? Я не в шутку... Подумай только: выйдешь замуж, от барыни избавишься.

– Ах ты, Иваша, Иваша! – перебила его девушка, – все ты тот же! Сколько времени не видала я тебя, а все ты тот же.

– Чего тот же? – вдруг будто обиделся Ивашка.

– Да ты не обижайся... Вижу, вижу. Уж и губы распустил, как бывало прежде, – тихо и почти нежно произнесла Уля.

– Что же такое я сказал? – обидчиво заговорил Ивашка. – Вестимо, кроме эдакого, ничего не придумаешь. Выходить тебе замуж и наплевать тебе на Авдотью Ивановну и на всех.

– Изволь, сейчас выйду, да только за кого?

– Ну, как за кого?!

– Да так: за кого?

– Да я почему знаю.

– Ну, вот и я не знаю.

– Неужто же в столице нет никого? Народа в столице много.

– Да, народа, Иваша, много, да замуж не за кого.

– Отчего же так?

– А оттого, Иваша... – И веселое лицо Ули вдруг омрачилось. Она помолчала и выговорила: – Оттого, Иваша, что для мужичкой дворянки нигде пары не найдется. Я одна как перст, сама по себе, ни к кому не пристала. Во всей Москве есть у меня одна старушка-просвирня⁵, с которой я могу водиться. Для одних хоть бы для дворян, для купцов, – я крепостная холопка; для других – хоть бы для прислуги нашей, – я барышня, только не настоящая, боковая...

И в светлых, серых глазах Ули вдруг показались две крупные слезы. Ивашка заметил их и вымолвил:

– Что ты! зачем? Ну вот и плакать! Боковая... что такое боковая?!

– Так меня, Иваша, здесь зовут. Как кто осерчает на меня зря, без толку, так и назовет «боковой» барышней.

– Что же это значит такое? мне невдомек...

Но Уля не отвечала на этот вопрос и продолжала тихо, глядя в пол:

– Вот оттого мне и не за кого замуж выходить. И за мужика нельзя, и за купца нельзя; а за барина – и говорить нечего. Мы с тобой, Иваша, мужички-дворяне с детства были, да так и останемся. Ты еще – другое дело. Кто тебе приглянулся, ты и женишься, а я же не пойду говорить какому-либо человеку: сделай, мол, милость, женись на мне! Да и не до того, Иваша...

– Никому не пара!.. – бормотал Ивашка, как бы про себя. И он вдруг ахнул на всю горницу, точно будто испугался чего-то,

⁵ Просвирня – женщина, занимающаяся выпечкой просфор, используемых в православных обрядах.

– Что ты! – воскликнула Уля.

– А за меня!

Уля не поняла. Ивашка вопросительно глядел на нее, пораженный сам своим открытием.

– Что?

– За меня.

– Что за меня? Что ты говоришь?

– За меня, за меня выходи!

Уля все-таки не сразу поняла и, поняв, опять звонко рассмеялась.

– Ей-Богу, Уля, за меня выходи! Ведь я буду вольный, – вот тебе Христос, – скоплю денег, откуплюсь, и как мы с тобой заживем отлично! Я пойду в дворники либо в кучера, а ты... – Ивашка запнулся.

– Вот то-то, Иваша, и не знаешь. Вот то-то и дело: ты в дворники, ну, стало быть, я – в кухарки.

– Нет, как можно!

– То-то, стало быть, нельзя. Ну – в горничные девки.

– Нет, как можно!

– Ну – в прачки, поломойки...

– Да нет, чего ты врешь!

– Ну, так как же, Иваша? Ты дворник, а я, будучи твоей женой, буду барышней-чиновницей? Видишь, вот никак и не клеится.

Ивашка вздохнул и выговорил тихо:

– Да, и то, не клеится.

И оба замолчали. Уля снова понурилась и думала о том, что часто приходило ей на ум: неужели же никогда не найдется человека, который полюбит бы ее, за которого она могла бы выйти замуж и зажить своим домком, своим счастьем. Часто невольно и смутно представлялся ей этот вопрос, и она отгоняла его, как нечто незаконное, как пустую, глупую мечту. Но теперь, когда в первый раз другой, хотя и ее молочный брат, заговорил об этом с ней, ей сразу яснее, настоятельнее представился этот жгучий вопрос.

Почему же и нельзя? почему же не найдется такого человека? Может быть, и найдется, может быть, и нашелся бы давно, если бы она не избегала так упорно и не боялась так страшно всякого нового знакомого. Хоть бы вот этот молодой барин, которого встречала она несколько раз на Знаменке, когда бегала в гости к просвирне... Этот молодой барин, который, будучи в церкви, прошлое Светлое Воскресенье, в конце заутрени пробрался через всю густую толпу прямо к ней, подошел вдруг и сказал: «Христос воскрес» – и прежде чем она успела опомниться, трижды расцеловался с ней. И с тех пор много ночей мешало ей спать его веселое, красивое, улыбающееся лицо. Хоть бы он?! Если бы она с тех пор около года не избегала его тщательно, не бегала к просвирне совсем другими переулками, что было бы теперь? Может быть... Но мысли Ули были прерваны внезапным скрипом отворившейся двери. На пороге показался Капитон Иваныч и, увидя Ивашку, взмахнул руками и ахнул:

– Иван! Иван!

И через секунду Капитон Иваныч душил Ивашку в своих объятиях и целовал его в обе щеки.

– Какими судьбами?! Ах, оголтелый народ! Ведь видел я, уходя, коня твоего на дворе, спрашивал этого черта, Маланью: кто тут? Говорит: приказчик приехал. Откуда? говорю. Не знаю, говорит. Ан это ты! Какими судьбами в столицу пожаловал?

Ивашка снова рассказал подробно, как был спроважен всем миром с родного села.

– За что? – воскликнул Капитон Иваныч.

Ивашка повел плечами и усмехнулся.

– Да все то же, Капитон Иваныч: говорит, лядащий, порченый, негодный; ну и спровадили.

– Порченый!.. – забурчал Капитон Иваныч, насмешливо усмехаясь. – Давай Бог им всем, подлецам, быть такими порченными! Я по сию пору, Иван, не могу себе простить, попрекаю себя ежечасно, что тебе вольную не выговорил или за себя не взял при продаже вотчины. Был бы ты теперь у нас вот с Улей вместе.

– Да, – рассмеялась Уля, – был бы с нами! Да с Авдотьей Ивановной.

– Да, точно, – рассмеялся Капитон Иваныч и отчаянным жестом бросил свою шапку в угол. – Да, с моей Авдотьей, пожалуй, что и хуже, чем в крепости на селе. А вот что, Улюшка. Мы сегодня с ней опять шумели, – слышала, чай.

– Слышала.

– И знаешь, о чем?

– Знаю.

– А ну, вот и не знаешь.

– Знаю, Капитон Иваныч, не спорьте.

– Да не можешь ты знать.

– Почему-с?

– Потому, что я и сам не знаю!

– Вот так хорошо, – совсем развеселилась Уля.

– Ей-Богу, не знаю, вот как перед Богом! – добродушно и весело воскликнул Капитон Иваныч. – Шумела, шумела она, меня обругала... Пстой, как бишь обругала?... Мудрено что-то... Паркалком или карапалком, что-то такое. Это, вишь, такой народ есть, вроде калмыка. А я ее назвал и того хуже: Сидоровой козой. А за что все это у нас было – доподлинно не знаю. Затекает она что-то, я это чую, а что она затекает – не знаю; вестимо, скверное.

– Ну а я, Капитон Иваныч, знаю, – полугрустно, полувесело произнесла Уля.

– Ну, скажи, коли знаешь.

– Нет, не скажу. Вы ей скажете и все дело испортите.

– Не скажу, что ты! ну, ну... Ей-Богу, не скажу.

– Ладно, не в первый раз. Хоть разбежитесь, – не скажу. Когда будет время, сама приду и все вам выложу, а теперь ни за что не скажу. Вы только испортите. Как она придет, так ей и бухнете. Еще хуже и выйдет.

В коридоре в ту же минуту раздался голос барыни, и все трое, как по данному знаку, разошлись в разные углы комнаты и одинаково робко поглядывали на дверь.

– Легка на помине... как черту и подобает быть! – пробурчал Воробушкин.

Авдотья Ивановна вошла, запыхавшись и от ходьбы, и от своей большущей, тяжелой шубы, и от платка, который был намотан вокруг ее головы и шеи. Разоблачившись при помощи Ули, она оглядела всех трех и проговорила:

– Небось сидели все кучкой в уголке да шептались, а чуть меня слышали – рассыпались по горнице.

– Ну, да как же, – отозвался Капитон Иваныч, – вишь ведь, какой комендант, подумаешь!

– Для такой мокрой курицы, как ты, я не токмо что комендант, а весь фельдмаршал Салтыков⁶.

И с этих слов снова начался тот же шум, к которому так привыкли и люди Воробушкиных, и Уля, и даже соседи по Ленивке.

⁶ ...фельдмаршал Салтыков Петр Семенович (1696–1772/73) – русский генерал-фельдмаршал (1759 г.), граф (1733 г.), прославившийся победами в Семилетней войне; в 1764–1771 гг. был генерал-губернатором Москвы. Был уволен за непринятие надлежащих мер по борьбе с эпидемией чумы.

Покуда муж с женой перекидывались, придумывая, на сколько хватит разума, ехидные слова, Уля незаметно выскользнула из комнаты к себе в мезонин. Ивашка, послушав, поглядев исподлобья в лицо обоих супругов, тоже вышел вон и отправился на двор, вспомнив о том, что его лошаденка стояла, не кормясь, уже добрых часа три.

Сойдя с заднего крыльца, он, однако, не нашел на дворе ни саней, ни лошади.

«Ишь, добрый какой человек! – подумал он, – распорядился уже и убрал коня; поди, и овсеца засыпал».

Он заглянул в конюшню, в сарай, сбегал на задний двор, взглянул за ворота; но ни лошади, ни саней не было нигде. Уже в испуге бросился он на кухню спросить двух женщин.

– Конь?.. Конь?.. Санки?.. Санки мои?! – воскликнул он, вбегая в кухню.

– Эвось хватился, – выговорила одна из двух женщин, Маланья. – Твой конь давно у Климовны.

– Какой Климовны?

– А то, поди, и она уж небось давно продала да на эти деньги корову какую купила.

Ивашка стоял пораженный, почти не понимая ни слова. Женщина объяснила ему, однако, что покуда он болтал с Улей, барыня вместе с Климовной вышли из дома, потолковали, а там уселись в его санки и съехали со двора. А домой барыня вернулась уже пешком.

– Ну, ну! – воскликнул Ивашка, широко разевая рот от изумления и перепуга.

– Ну, она, стало, и отдала и коня, и санки Климовне на продажу.

– Кто?

– Да барыня же. Вот оголтелый-то!..

Ивашка даже выронил из рук свою шапку. Увидя его пораженную фигуру, изумление и отчаяние, обе женщины стали уговаривать и успокаивать парня и даже утешать.

– Ты, голубчик, спасибо скажи, что она тебя самого с санками не продала кому, – убеждала парня Маланья. – Она, голубчик, с Климовной белыми арапами торгует; так что ж ей чужой конь? Либо санки твои?

Ивашка, не слушая, поднял свою шапку, побежал в горницу, шибко влетел и застал Авдотью Ивановну уже одну в углу, на кресле, с ватрушкой в руках.

– Авдотья Ивановна!.. – забормотал он робко.

– Ну?

– Авдотья Ивановна... Как же-с?.. – и парень запнулся, глядя на спокойное и отчасти удивленное лицо барыни. – Мне рассказывают на кухне... Рассказывают, что вы моего коня...

Ивашка опять запнулся, так ему казалось странным и глупым все происшедшее.

– Продала? – вопросительно-спокойно выговорила барыня. – Точно. И не дорого. Цены на коней плохи теперь, да и заморил ты его дорогой. Ты, я чай, не овсом и не сеном, а, так полагаю, ремненным кнутом кормил его всю дорогу.

– Да как же-с?.. – Ивашка развел руками. – За что же?.. И опять, конь этот не ваш.

– Да ты это что... – вдруг заговорила другим голосом Авдотья Ивановна. – Ты, никак, меня допрашивать пришел!.. А в полицию хочешь? В холодную хочешь? – Авдотья Ивановна встала и приблизилась к Ивашке, закинув слегка голову назад и руки за спину, – в солдаты – хочешь?.. В острог – хочешь?..

– Помилосердуйте!.. – вдруг выговорил Ивашка, отступая и кланяясь разгневанной барыне.

– Какой приткий! Нос и уши обрежут на конной площади через палача! Хочешь? Приткий какой... – И, поглядев несколько минут в лицо растерявшегося парня, Авдотья Ивановна выговорила вдруг тише и как будто даже кротко:

– Пошла вон, дурафья!..

Ивашка живо убрался из горницы, осторожно и тихонько затворил за собой скрипучую дверь и вышел опять в сени; здесь он стал и развел руками.

– Вот так колено! – проговорил он наконец, – да и что же конь, коли она, сказывают, белыми арапами торгует! А я было продать да разжиться хотел коньком. Ай да барыня! Вострая!

VIII

Между тем Ивашкин пегий конь был уже давно на маленьком дворе нового тесового домика вдовы расстриженного попа, Климовны. Конь был выпряжен из саней и привязан на морозе к кольцу. Вид у коня был самый плачевный. Он не ел со вчерашнего дня, и первое его впечатление от столицы было самое грустное. Насчет овсеца, о котором он мог мечтать дорогой, в виду первопрестольной столицы, не было и помину. Если б можно было влезть в душу пегого коня, то оказалось бы, что он думает: «Ну, уж хороша Москва! хороша столица! черт бы ее подрал! хуже нашей деревни. Там хоть иной раз голоден, так мошенническим образом и по соседству у коровы что стащишь. А тут вот стой перед стеной, привязанным к кольцу».

Климовна между тем сидела у окошечка, спешно пила чай и поглядывала на вновь купленного зеленого попугая, сидевшего на перекладине в углу. Она рассчитывала, допив последнюю чашку, идти продавать и его, и коня, неожиданно добытого у ротозея Ивашки.

Вдова расстриженного попа, Климовна, была женщина лет пятидесяти, казавшаяся гораздо моложе своих лет. Она занималась уже давно всякого рода делами, и все эти дела, почти без исключения, пахли острогом. Хотя она была вдова и бездетна, не вмела никого родни, но дом ее был полон. Шум и гам не прерывался с утра до вечера, и всякий прохожий, который не знал, кто живет в этом домике, невольно думал, что в нем или особенное веселье и много ребят, и больших, и малых, или же беда какая приключилась: пожар или убийство какое и переполох от него.

Если бы, ничего не зная о житье-бытье Климовны, простой человек зашел в этот дом, то непременно бросился бы тотчас вон и пустился бы бежать что есть мочи.

Однажды так и случилось. Какой-то молодчик ошибся домом и, посланный к соседу Климовны, дякону, попал к ней. Два живые существа вышли к нему навстречу в сени. Молодец заорал благим матом, как если бы в него пырнули ножом, и бросился бежать, завывая во весь голос и крестясь на бегу. Калитка сразу не подалась, и он как ошалелый перемахнул через забор. Весь переулок до угла промчался он, как ошпаренный, и долго потом рассказывал о том, что видел.

А дело было очень простое. Климовна покупала и продавала все, что можно было купить и продать, начиная от дров и кончая чепцами, начиная от лошадей и коров и кончая крепостными людьми, которых покупала и продавала из рук в руки, не имея права записывать на себя. Но главная статья ее дохода, ее любимый товар, в котором она знала толк и цену в на котором заработала много денег, были всякие карлики и инородцы, калмычки, башкирчата, киргизята и т. д. Даже раза три за всю ее деятельность удалось ей достать и продать очень дорого двух арапов и одного каракалпака. Понятное дело, почему парень, попавший в ее дом, встретя никогда не виданного крошечного калмычка и громадного худого как палка, черного, как уголь, арапа, перемахнул через забор, завывая на весь квартал.

Действительно, небольшой дом Климовны, комнат в пять, переполненный всевозможными уродцами, с разноцветными лицами, разных возрастов и разного роста, от аршинного карлика и до саженого туркменца, мог навести ужас на всякого простого человека. Сама Климовна привыкла к своему дикому и, главное, злому товару.

Многие умные и опытные люди советовали Климовне быть осторожнее. Действительно, ей попадались такие карлики и такие киргизята, которые могли нипочем ее только зарезать ее ночью, а просто загрызть в припадке дикой, животной злобы.

Климовна только усмехалась, когда ее предупреждали, но, конечно, никому не говорила о тех способах, благодаря которым она держала всю эту разнохарактерную и разношерстную ораву в повиновении.

А способы эти были самые разнообразные и самые сильные. Ей случалось расправляться с своими жильцами железным прутком, и однажды одну злую калмычку она заколотила до смерти. В другой раз посадила карлика на цепь и продержала несколько дней голодным, но когда дала ему кусок хлеба, он съел его и через час умер в судорогах. Долго жалела о нем Климовна: пятьдесят рублей пропало.

Между тем вдова расстриженного попа была женщина добродушная во всех своих отношениях с остальным миром. Даже своих уродцев она, в сущности, любила, но походила на того охотника, который проводит в болоте и лесу целые дни вместе с своим первым другом, легавым псом, обожает его, называет своим кормильцем, делится с ним ломтем хлеба, взятым из дома, и в то же время нещадно бьет его по несколько раз в день.

Теперь, окончив последнюю чашку, Климовна надела шубу и пошла в ту горницу, несколько побольше других, где жили, ели, спали и сидели целые дни ее жильцы. Трое из них, карлик и два калмыка, спали на матрацах на полу вповалку, как собаки. Двое каких-то страшно курносых инородца, узколобые, коричневые, мохнатые, играли в какую-то мудреную игру из палочек и камешков, причем изредка били друг дружку щелчками по лбу, но без всякой злобы, а, очевидно, по правилам игры. Еще трое диких человечков сидели на полу неподвижно на поджатых ногах, как каменные истуканы, и не дремали, и не шевелились, и даже не взглянули на нее, когда она вошла.

– Ну вы, народцы, – обратилась Климовна к своим жильцам с своим любимым всегдашним выражением. – Будьте умники, я скоро вернусь.

На это не последовало никакого ответа. Только один старый, желтый и сморщенный карлик Филипушка, спавший в углу, проснулся, посмотрел на хозяйку бесстрастными глазами и перевернулся на другой бок, лицом к стене.

Климовна, наказав единственной, но зато громадного роста прислуге Марфе приглядывать за «народцами», быстрыми шагами делового человека побежала по переулку.

IX

Через полчаса вдова была на заднем крыльце большого барского дома, темного цвета, с белыми балконами, белыми колоннами и белыми ставнями.

– Доложите, голубчики, обо мне его превосходительству, – ласково сказала она попавшимся людям. – Скажите – по делу, насчет лошадки, уже Павел Дмитрич знает.

– Барин на дворе, – отозвался старший лакей.

– Ну, вот и хорошо, – ласково произнесла Климовна и шмыгнула вон из передней.

Действительно, около настежь растворенных дверей сарая, где виднелись экипажи, стоял, повернувшись к ней спиной, плотный человек, среднего роста, в простом нагольном, но очень опрятном и щегольском полушубке. Это был сенатор Павел Дмитриевич Еропкин⁷. С низким поклоном подошла Климовна к важному хозяину.

– Ваше превосходительство, честь имею кланяться. В добром ли здоровье?

Еропкин обернулся. Простое и доброе лицо сенатора, очень некрасивое, с толстым, неправильным носом, маленькими глазами и большим толстым подбородком, сразу, однако, выдавало человека прямого, добродушного и честного.

– А! Климовна, здравствуй! Ну, что? Зачем пожаловала? Замуж, что ли, собралась?

– Никак нет-с, ваше превосходительство, а вот вы изволили как-то сказывать, что конька ищете, так вот-с...

– Что ж, продаешь?

– Так точно. Хороший конь, здоровый и масть самая прекрасная, вся разная... Всех колеров.

– Ишь какой! – засмеялся Еропкин, – и гнед, и сер, и вороной – вместе. Любопытно... Я еще таких коней не видывал.

– Отличный конь. Верьте слову. Не хочу зря божиться.

– И не краденый?

– Что вы, ваше превосходительство!

– То-то, Климовна, а то нехорошо, как если русского сенатора вместе с тобой за мошенничество в суд потянут. Нет уж, голубушка, что другое, а коня я у тебя не куплю. Извини, пожалуйста, не сердчай. У тебя, поди, все краденое. Душа-то твоя и та, ей-Богу, полагать надо, краденая... Ты, голубушка, не сердись. Коли я с тобой по улице где пройду, так сейчас всяк честный человек подумает, что ты меня с чужого двора свела, слимонила и продаешь.

Климовна стала божиться, что конь ее не краденый, а купленный у госпожи Воробушкиной.

– Ну, эта барыня тоже тебе под стать. Была года с два тому ничего, а теперь, слышно, тоже стала промышлять тем, что плохо лежит без присмотра.

– Да ведь этот конь не ее, а собственно ее супруга, Капитона Иваныча Воробушкина; он продает.

– А, вот это другое дело! У него я куплю, но прежде видеть надо. Конем, прости, голубушка, отец родной родного сына радуется. Таков российский обычай. Приведи его завтра да принеси цидулку от господина Воробушкина, что конь его, вот и куплю. А без цидулки и не ходи, потому что ты, извини, голубушка, первый вор на Москве и первый подлец. Извини, голубушка!

Все это говорил Еропкин самым ласковым и кротким голосом, держа руки в карманах полушубка, и только при последнем слове «подлец» вынул правую руку и прибавил убедитель-

⁷ Еропкин Павел Дмитриевич (ум. 1805) – сенатор, генерал-аншеф, за усмирение чумного бунта награжден Екатериной II Андреевской лентой и четырьмя тысячами душ крепостных крестьян, от последних Еропкин отказался.

ный жест, как бы ради того, чтобы скорее и лучше вразумить Климовну, что она действительно – баба-подлец.

Климовна, с своей стороны, нисколько не обиделась, так же ласково и почтительно раскланялась в пояс с сенатором и пошла со двора.

Выйдя за ворота, она пробурчала:

– Нет, этому не продать, а надо бы скорее продать. Надо будет объявить вместе с портным и с попугаем. А то ведь кормить приходится. Поколеет конь, Авдотья Ивановна со свету сживет, тогда еще не поверит, что околел. Хоть хвост ей тогда с палой скотины принеси для улики или всю падаль к ней вези на двор напоказ. Скажет – обворовала, продала, а деньги хочешь утаить. И Климовна, тем же быстрым шагом, почти рысью побежала по переулку.

Через пять дней по приезде Ивашки в Москву, около полудня, Авдотья Ивановна опять собралась одна вон из дому. Это случалось редко, Капитон Иваныч, сидевший за воротами на скамейке, увидя уходящую жену, покачал головой.

– Не знаю я твоей затеи, – проворчал он ей вслед, – но чует мое сердце, что добра не жди.

Авдотья Ивановна быстро обернулась, и Воробушкин ждал, по обыкновению, брани, но, к его величайшему удивлению, Авдотья Ивановна злобно поглядела ему в глаза, промолчала и, отвернувшись, ушла, ничего не говоря.

«И что она может затевать? – думал Воробушкин, оставшись один. – Продавать уж нам нечего, а на продажу последнего имущества я таки не дам моего согласия».

Не прошло получаса, как к воротам домика подошел плотный, несколько сутуловатый человек в офицерском мундире, очень засаленном и без шпаги. Красное лицо его и взгляд маленьких масляных глаз сразу не понравились Капитону Иванычу.

– Где тут живут, позвольте спросить, – заговорил он хриплым голосом, – господа помещики Воробушкины?

– Я сам он и есть, Воробушкин, – отозвался Капитон Иваныч, – чем могу служить?

– Да вот, извольте видеть, в ведомостях пропечатано... Вчера еще я хотел быть, да времени не было... – И отставной офицер полез в карман и достал аккуратно сложенный, немного запачканный, серый газетный лист «Московских ведомостей».

– С кем я имею честь разговаривать? – прервал его Капитон Иваныч.

– Прапорщик в отставке, Прохор Егорыч Алтынов.

Воробушкин, знавший всю Москву – и большую и малую, и важную, и серенькую, – никогда до тех пор не встречал прапорщика Алтынова. Но имя его было ему знакомо, и он помнил хорошо, что с этим именем соединяется что-то особенное и очень негодное. Благодаря своей замечательной памяти, Капитон Иваныч тотчас сам себе сказал, что он непременно, хоть через час да вспомнит, кто такой этот Алтынов.

Но когда прапорщик развернул газетный лист и указал то, что привело его в дом Воробушкина, то Капитон Иваныч слегка ахнул и позеленел лицом. Он прочел в объявлении: «На Ленивке, в третьем от угла доме, занимаемом господами, продается за излишеством, из себя видная и ко исправлению швейной и всяких работ способная девка 20-ти лет. Тут же можно известиться о продающемся портном, любопытном попугае и пегом мерине. Желаящим покупать подает сведения сама госпожа».

«Так вот что! Вот она затея! – подумал он. – Улю продавать! Ладно... Авдотья Ивановна! Сначала мы похитрим, а потом уж если нельзя будет перехитрить, то посражаемся уже не языком и словами, а хоть до ножей дойдем».

Капитон Иваныч передохнул, успокоился на сколько мог и тотчас сообразил, что отказываться от объявления, сделанного женой, и спровадить Алтынова ни к чему не приведет. Он узнает впоследствии, в чем дело, и явится опять.

– Пожалуйста! – говорил Капитон Иваныч быстро и любезно и ввел гостя в горницы.

Затем он еще быстрее спустился в кухню, позвал Маланью, стиравшую целую кучу тряпья в корыте, и в двух словах объяснил ей все.

– Звать тебя Ульяна, а не Маланья; годов-то тебе больше, да стой на своем, что, мол, двадцать пять, и шабаш...

Люди, любившие Капитона Иваныча, конечно, гораздо более, чем барыню, и обожавшие Улю, которую все-таки называли барышней, всегда с удовольствием были заодно с барином.

Маланья, глупо ухмыляясь, хотела было оправиться, отогнуть подол, поправить платок на голове, но Капитон Иваныч запретил.

– Как есть чучело, кикиморой, так и иди!.. – И тотчас же Капитон Иваныч, весело усмехаясь, повел за собой глупо ухмылявшуюся Маланью. Но вдруг женщина на половине дороги ухватила его за руку и вскрикнула:

– Батюшка, Капитон Иваныч! А ну как он все-таки купит?

– Ври! Купит! Нешто ему тебя нужно? На кой прах ему тебя!.. В газетах проставлено «видная из себя», стало, пригожая, а у тебя и подобия нет!.. Иди, иди!..

Маланья, однако, с последним мнением барина о своей физиономии, очевидно, не согласилась.

– Эх, Капитон Иваныч. А ну, в самом деле купит... – бормотала она боязливо и готова была уже взвыть. Вследствие этого женщина появилась в горницу за спиной Капитона Иваныча, несколько печальная и оробевшая.

– Вот-с, – отрекомендовал совершенно серьезно Капитон Иваныч. – Молодец баба... на все что угодно. Прелюбопытная-с. И девица!

Чего ожидал Воробушкин, то и вышло. Алтынов вытаращил глаза и спросил:

– Разве это?

– Что-с? – схитрил Воробушкин, будто не понимая.

– Эта разве в продаже?

– Эта самая.

– Ты Ульяна? – обратился Алтынов к бабе.

– Я-с... – нерешительно ответила Маланья, но, увидя гневное лицо барина, пробормотала: – Я самая Ульяна... девица... как они вам рассказывают...

Алтынов осмотрел с головы до пят толсторожую прачку, которой было уже лет за тридцать, невольно почесал за ухом, потом прочел снова объявление в газете и поднял глаза на Воробушкина.

– Что-с? Неподходящая? Не нравится? – спросил Капитон Иваныч.

– Куда ж мне эдакую? Вахрамею... Сами посудите...

– Отчего же-с... она, право, доложу вам по совести, стоит десяти...

– Неправильность мне тут кажется, – досадливо щелкнул Алтынов пальцем по листу газеты. – Тут, извольте видеть, сказано, двадцати лет. Положим, всегда малость лет убавляют в публикациях, но все-таки не до этого... Опять печатается при сем, что эта девица, и опять-таки, что видная из себя. И цена, как я слышал, – дорогая. Ну-с, а этот товар, что вы изволите продавать, идет в рублях семи, ну пятнадцать, что ли, много дешевле иного коня. Вы меня извините, а я за Ульяну вам и пяти рублей не дам. Вы извольте взглянуть только ей в рыло... Черта ли я буду с ней делать!

– Стало быть, не хотите покупать? – отозвался серьезно Капитон Иваныч.

– Нет-с, – уже сердито сказал Алтынов. – Вы меня извините за беспокойство, только я все-таки должен прибавить, – заговорил он, глядя снова на Маланью, – что мне чужа неправо, неправильно либо какое недоразумение. Мне Климовна рассказывала...

– А, Климовна, знаю! – воскликнул Капитон Иваныч, – да она, сударь, пустобрех... Она и про меня расскажет, что я красавец писанный и что мне шестнадцатый год пошел. Вы, видно, Климовну не знаете, распадаюсь.

Алтынов пожал плечами, как-то медленно, нерешительно уложил газетный лист снова в карман и, извиняясь за беспокойство, мрачный, вышел из горницы.

Капитон Иваныч, весело ухмыляясь ему в спину, проводил его за ворота и уж готов был весело посмеяться после ухода прапорщика, когда вдруг у самых ворот появились Уля и Ивашка. Не успел еще Алтынов отойти от ворот, как они весело заговорили с Воробушкиным.

Алтынов вернулся снова, косо взглядывая на Улю. Не дожидаясь вопроса, он обратился к Уле и сказал, двусмысленно улыбаясь:

– Честь имею кланяться. Извините, не знаю, как имя и отчество.

Капитон Иваныч захрипел, закашлялся, тараща глаза на Улю, но ничего не помогло; она, озираясь и оробев, тотчас отвечала:

– Ульяна Борисовна...

Алтынов насмешливо обернулся к Воробушкину:

– Сама птишка голос подает... только подманить умей! Нашего брата, государь мой, военного человека, провести мудрено. Позвольте уже мне до другого раза отложить. Будет как-нибудь ваша супруга дома, я с ней и побеседую.

Капитон Иваныч вдруг переменялся в лице; голос его задрожал, но он отчетливо выговорил:

– Я в своем доме барин и коли не захочу что продавать, то со мной сам фельдмаршал Салтыков ничего не поделает, – граф Петр Семенович, коего я имею честь лично знать...

Уля и Ивашка сразу все поняли: что за человек и зачем приходил Алтынов.

– А захочу я кого продавать, – продолжал уже вне себя Капитон Иваныч, – так и прежде всех Авдотью Ивановну продам или променяю на какую-нибудь цепную собаку и в придачу дам еще сто рублей-карбованцев, чтоб нашел такой дурень, чтоб ее купить...

Алтынов, увидя в маленьком человечке-барине сразу совсем другую личность, равно способную как улыбаться мягко, так и отпор давать, сразу предпочел убраться и, не говоря ни слова, поклонился и ушел.

Капитон Иваныч опустился на скамейку. Руки дрожали у него так, что табакерка, которую он было достал, упала на землю. Ивашка и Уля взяли его под руки и увели в дом, стараясь всячески успокоить.

– А! Что выдумала!.. Нет, что выдумала, проклятая баба!.. – сто раз повторял Капитон Иваныч, – тебя продавать!.. Да я ее продам этому Алтынову... За алтын продам... Даром отдам! Не купит – в речку утоплю!

Долго Уля напрасно успокаивала Воробушкина и наконец предложила ему пойти куда-либо в гости прогуляться.

– Не будет этого, николи не будет! – повторял Капитон Иваныч.

– Ну, и не будет! – спокойно повторяла Уля, – и лицо ее и взгляд были так же спокойны, как и голос – А вы все-таки не сердитесь, а то захвораете потом. Ведь он еще не купил меня?

– Нет, да какова бестия супруга-то моя! – воскликнул Капитон Иваныч. – И когда это она надумалась?

– Я уже это, Капитон Иваныч, давно знаю.

– Как знаешь?!

– Да-с, уже недели две, коли не больше, как Авдотья Ивановна хлопочет об этом. Поэтому и Климовна зачастила, и сама она из дома стала часто отлучаться. Она уже в двух местах была и с двумя важными господами меня торговала.

– Ты лжешь!.. ты во сне видела!.. – воскликнул Капитон Иванович, и глаза его заблестели ярким светом.

Уля улыбнулась кротко и грустно.

– Не лгу!.. Ишь, вы как рассердились, родной, уж и меня в лгуньи поставили.

Капитон Иваныч закрыл лицо руками и стал качать головой из стороны в сторону.

Ивашка и Уля стояли перед ним грустно, задумчиво; каждый думал о своем. Оба они хорошо понимали, что весь этот гнев, и пыл, и угрозы ничего не значат, что если Авдотья Ивановна задумала ее продажу в чьи-либо руки, лишь бы только за хорошую цену, то это рано или поздно будет сделано. И Уля задумывалась теперь только об одном вопросе:

«Кому продаст и что из того будет? Вдруг вот этакому барину, как Алтынов. Что тогда делать?» – и Уля решала теперь, что останется только утопиться.

Ивашка, стоя перед Капитоном Ивановичем, думал свое:

«Вот если бы я был не порченный, был бы человек, как другие, смысленный, я бы сейчас придумал, как помочь делу. А вот я, дурень, ничего не могу придумать. Вот ни на что я не годен, – лядащий как есть!»

И вдруг пришло на ум Ивашке предложить Авдотье Ивановне продать его в солдаты, а себе взять деньги с тем, чтобы Улю уж не продавать.

«Попробую, – решил Ивашка, – ныне же ей и скажу. Меня в солдаты возьмут».

Он сообщил свой план, но Капитон Иванович тотчас же обругал его за глупость.

– За нее, – воскликнул он, – голубушку, писаную красавицу, сто рублей никто не пожалеет, а то и двести. А за тебя, губошлепа, что дадут? – двадцать пять рублей. Дороже солдата нет.

Уговорившись все трое, чтобы ничего не сказывать покуда Авдотье Ивановне о посещении Алтынова, они разошлись.

Капитон Иванович отправился тотчас к одному умному человеку совета попросить, как быть в таком деле. Он в первый раз, быть может, в жизни шел сам за советом, не зная, что и придумать.

Ивашка тоже вышел со двора и отправился на другой конец города, в Басманную⁸, наниматься в услуженье.

Накануне ему попался на улице солдат-денщик и спросил про какую-то улицу, Ивашка объяснил, что сам только вторые сутки в Москве. Солдат тоже оказался приезжий накануне. И вследствие этого они оба тотчас подружились и разговорились.

– Мы, стало быть, с тобой чужие оба, – заговорил солдат.

Слово за слово, оказалось, что его барин – офицер из армии, – из-под турки, остановился на квартире родственника и захворал.

– Нам треба теперь достать кого-нибудь мне в помощь; один за ним не уходишь. Поступай к нам!..

Ивашка тотчас согласился, и решено было, что на следующий день он придет наниматься.

⁸ Басманная – московская слобода XVII в., а затем и улица, начинавшаяся за Красными воротами.

XI

Офицер, из сдаточных солдат, прапорщик нежинского карабинерного полка в отставке, Прохор Егорыч Алтынов жил в маленьком домике, холостой и одинокий, но в его доме, недавно им приобретенном, всегда жило много народу. Вдобавок народ этот был самый разнохарактерный, чуть не сброд со всего света: мужчины и женщины, старые и молодые, русские, хохлы и даже татары. Прохор Егорыч был нечто вроде делового и коммерческого человека, по казенному же выражению – он был просто притонодержатель.

Полиции было хорошо известно все, что происходило в доме прапорщика; но так как в то же время ей было и очень выгодно занятие Алтынова, то Прохор Егорыч был ею не только оставляем в покое, но даже пользовался особым уважением и любовью всех будочников Лефортовской части⁹. Алтынов, так же как и Воробушкин, никогда не бывал дома. Вечно занятый своими разнообразными делами, он рыскал по Москве с утра до вечера.

Самые частые и самые выгодные его сношения были на Басманной, в известном всей Москве и даже в окрестностях, трактире «Разгуляй». Благодаря знаменитому трактиру, целой улице суждено было остаться навеки под этим именем.

Как у Алтынова в доме, так и в «Разгуляй», у хозяина трактира и кабака Князева, проживали, появляясь и исчезая, постоянно всякого рода личности обеих полов и всех возрастов. В этом числе попадались люди с клеймами, т. е. каторжники, беглые из острогов, а равно и вернувшиеся тайком восвояси из Сибири.

«Разгуляй» был, конечно, тоже под особым покровительством полиции, благодаря двум беспечнейшим людям всей Москвы обер-полицмейстеру Бахметеву и обер-коменданту царевичу Грузинскому. Оба они были любимцы старой развалины – героя, впавшего в детство, генерал-губернатора Москвы, фельдмаршала графа Салтыкова.

Разница между «Разгуляем» и домом Алтынова была та, что в знаменитом кабаке водились всякие люди – воры, грабители и каторжники, а Алтынов сам заводил у себя всякий сброд.

Главное его занятие состояло в том, чтобы покупать беглых людей, которых была, конечно, масса не только в Москве, но во всей России. Личностей, обогащавшихся такого рода делами, было на Руси много. Алтынову еще не очень счастливо, а между тем у него был уже очень порядочный капитал.

Делалось это просто, под охраной законных документов. Беглый дворовый являлся к нему, составлялся акт, по которому прапорщик становился его владельцем и затем тотчас продавал его, – конечно, под вымышленным именем, – в другие руки. Человек через несколько времени бежал от нового хозяина, иногда снова являлся к Алтынову, и прапорщик, выдумав ему новую фамилию, продавал его снова. При этом, конечно, дворовый получал на чай рубль и два, и три, иногда и гораздо больше, а Алтынов получал по сорока, по сту и более рублей.

Продажей этой Алтынов занимался, конечно, не в Москве, где его уже давно знали и считали личностью темною. Для ведения же этих дел был у него помощник и приятель подьячий.

Для продажи беглых он обращался или к приезжим на время в Москву, или же сам ездил в губернские города. Однако самая выгодная отрасль торговли были не дворовые. В Москве не было сколько-нибудь богатого барского дома, где бы нельзя было найти в числе приживальщиков калмычонка, калмычку, или карлика, или киргизенка. Самые важные вельможи, в особенности самые богатые барыни, имели по два, по три образчика такого рода, и самое выгодное дело была кража этих татарчат и продажа во внутренние губернии. Кража эта производилась десятком помощников или денщиков и производилась очень искусно и очень дерзко.

⁹ Лефортовская часть. – Речь идет о полицейском подразделении, расположенном в заяузском районе Москвы, где при Петре I располагался полк под командованием генерала и адмирала Лефорта.

Всякий калмычонок или карлик крался так же, как крадется кошка или собака. Их сманивали со двора, заманивали лакомством или же грабили и увозили самым дерзким образом. Здоровенный денщик, переодетый гайдуком или казаком, разъезжал с этой целью верхом по московским улицам. Когда ему попадалась маленькая фигурка калмычонка или киргизенка, он останавливался, заговаривал с ним, ласкал, кормил яблоком, пряником, шутил, предлагал покататься на лошади. Глупое существо почти всегда соглашалось.

Солдат садился верхом, взяв на руки маленькую фигурку и, прокатив с людного места в безлюдные улицы, уже скакал во весь дух к Лефортовской части, где был дом Прохора Егорыча. Иногда калмычонок, сообразив, в чем дело, яростно завывал, но не надолго: вор затыкал ему рот тряпкой с опасностью задушить.

На другой же день или на третий краденый живой товар отдавался Климовне на продажу или если инородец был смышлен и потому опасен, то сбывался он из Москвы в провинцию.

Конечно, многим были известны проделки Алтынова, известны все темные дела, происходившие как у него, так и в «Разгуляе»; но все-таки и сам Алтынов, и «Разгуляй» продолжали процветать. Только за последнее время одна покража очень дорогого каракалпачонка, принадлежавшего самому фельдмаршалу Салтыкову, чуть-чуть не погубила Алтынова. Один из его денщиков, самый глупый, Трифон, поймал генерал-губернаторского инородца на Кузнецком мосту и, вместо того чтобы украсть его, попался сам. Трифона судили за кражу, высекли, посадили в острог; но через два месяца он уже снова проживал у Прохора Егорыча, как ни в чем не бывало.

Помимо этого, у Алтынова было другое, тоже не менее выгодное занятие, в котором была помощницей та же вдова Климовна.

Дело состояло в разыскивании видных из себя дворовых девушек, покупке и перепродаже их. Цены на этот товар были самые большие. Цена ниже ста рублей не спускалась и доходила до трех и пяти сот. И этот род торговли тоже немало обогатил Алтынова; он жалел только, что нельзя видных из себя девиц также доставать даром, т. е. воровать, как уворовывались калмычата и киргизята.

Впрочем, и тут Алтынов нашелся.

Купив и продав кому-нибудь из московских бояр-селадонов¹⁰ красивую девушку, Алтынов иногда уговаривал ее бежать и находил, конечно, часто полное сочувствие, укрывал ее у себя. Но вслед затем он девушку страшил доносом, передачей в полицию, делал новый документ и продавал в новые руки.

Подобных дел было у Алтынова так много, что в иные дни он был завален делами с утра до вечера, едва успевая наскоро пообедать.

Если у него теперь, после нескольких лет, не было большого состояния, то благодаря тому, что две трети нажитых рублей шли в карман начальства, начиная от будочника соседней будки и кончая домом генерал-губернатора, под сенью которого, благодаря его дряхлости, водились первостепенные крючки-подьячие, каких не нашлось бы по всей России. Крючки-таланты и лихоимцы-гении.

Немало приходилось делиться и с подьячими при совершении фальшивых документов. Кой-что попадало, конечно, и в карман вдовы расстриги, которая занималась приискиванием живого и красивого товара.

Алтынов отлично понял все лицедейство, которое разыграл перед ним господин Воробушкин, подставив толсторожую Маланью вместо красавицы Ули. Он повидался снова с Климовной, поговорил с ней, и было решено обождать, дать супругам Воробушкиным вдоволь набраниться, даже хоть подраться, и затем сделать куплю.

¹⁰ *Селадон* – герой пасторального романа французского писателя Оноре д'Юрфе. Имя Селадона стало нарицательным для обозначения чувствительного влюбленного, а затем назойливого волокиты-ухажера.

Алтынов только справился осмотнительно, как опытный человек, какие были права барыни Воробушкиной на Улю, и из собранных сведений оказалось, что несколько лет назад Капитон Иваныч дарственной записью все свое имущество передал жене. Вместе с этим оказалось, что Уля была записана крепостной и исключена из числа прочих душ при продаже имения, но в том же звании простой крестьянки принадлежала теперь самым законным образом госпоже Воробушкиной.

После появления Алтынова в доме Воробушкиных начались постоянные, как выражались соседи их, «шум и драка». От зари до зари в соседних дворах и на улице слышны были крики уже охрипших голосов.

Капитон Иваныч повторял тысячу раз, что он не позволит продажи своей племянницы, что будет жаловаться фельдмаршалу, поедет жаловаться самой царице в Петербург, перевернет весь свет, умрет прежде, чем допустит такое срамное дело. Затем он не спал ночи, уходил и бродил по Москве, советовался со своими бесчисленными знакомыми, ругал и поносил жену по всей Москве, но, разумеется, толку от этого было мало.

Всякий, вместо совета, разводил руками и говорил:

– Да как же вы это, Капитон Иваныч, прежде не подумали? Как же это вы, Капитон Иваныч, при жизни все жене передали? Как же это вы, Капитон Иваныч, себя-то по миру пустили? Как же вы племянницу-то в крепости оставили да жене подарили?!

Но все это Капитон Иваныч знал сам отлично; обо всем этом уже не раз думал и грустил; не раз даже плакал, и его только раздражали эти охи и ахи знакомых.

Несколько дней кряду обходя Москву несколько десятков раз, Капитон Иваныч, как и ожидала Уля, свалился с ног и лежал в своей комнате, еле ворочая языком.

После всяких сильных душевных потрясений и волнений Капитон Иваныч всегда впадал в такую слабость, что можно было ожидать его смерти.

XII

Теперь, через несколько дней после появления в доме Воробушкиных Алтынова, Капитон Иваныч лежал еле живой в постели.

Уля сидела около него, ухаживала за ним – бледная, задумчивая, грустная. Она не спускала глаз со своего дорогого Капитона Иваныча и не столько грустила о предстоящей своей продаже, сколько об исходе его болезни. Ей казалось, что на этот раз Капитон Иваныч не встанет.

Между тем в соседней горнице у барыни сидел гость, Прохор Егорыч, пил чай со свежей сайкой и часто поглядывал в окошечко.

Он ждал подьячего, который должен был написать фирменную бумагу на куплю приобретаемого им товара.

На этот раз этот живой товар казался Алтынову настолько выгодным, он надеялся сбыть с рук с таким отличным барышом, что, конечно, заботился, чтобы самый акт был сделан вполне по форме, чтобы не могло быть потом какой бы то ни было помехи.

Наконец во дворе появилась маленькая фигурка в длиннополом кафтане и через минуту вошла в горницу, где была барыня и Алтынов.

– А, вот и дорогой Мартыныч! Милости просим! – воскликнул Алтынов и представил подьячего барыне. Мартынычу дали выпить пять стаканов чаю; затем из сумки довольно почтенных размеров он достал кучу бумаги и исписанной, и белой и тотчас же принялся за свое священнодействие. Во-первых, он тщательно, долго и медленно чинил громадное и великолепное гусиное перо, даже два раза принимался делать раскеп¹¹, сразу не удавшийся. Во-вторых, он прочитал бумагу, которую достала из-за образов Авдотья Ивановна. Это был документ Ули, в котором и была вся суть. Авдотья Ивановна боялась, что он попадет в руки мужа и что тот изорвет бумагу, и тогда хлопотам не было бы конца.

Прочитав бумагу, подьячий задал несколько вопросов барыне, касавшихся до продаваемого товара. После этого Мартыныч, положив перед собой лист гербовой бумаги, размахнулся рукой, и пальцы его со страшной быстротой и ловкостью завертели на левом углу листа бумаги, кладя бесконечные десятки штрихов и завитушек. Можно было подумать, что Мартыныч хочет только исчеркать, испачкать зря весь гербовой лист. Наконец пальцы вдруг остановились, перестали вертеться, перо тихо пошло на бумаге слева направо и вывели первые слова документа: «тысяча семьсот, семь на десятого года декабря...» и т. д.

Покуда Мартыныч писал, Авдотья Ивановна приблизилась и любопытствовала посмотреть серенький четверугольник, отпечатанный на правой стороне листа.

В четверугольной рамочке, с разными завитушками величиною в вершка полтора, был двуглавый орел со скипетром и державой. Над головами орла стояли четыре цифры года 1770, под хвостом и лапами орла – цифра 40 и две букв. К. О. В самой рамке, вокруг орла, шла надпись на всех четырех сторонах: под сим гербом писать всякие крепости от 50 и на 1000 рублей.

Когда бумага была написана, Мартыныч вполголоса, чтобы как-нибудь не услышал больной Капитон Иваныч, прочел содержание ее, заключавшееся в следующем:

«Тысяча семьсот семидесятого года декабря в третий день, жена морского корабельного флота отставного лейтенанта Авдотья Ивановна, дочь Воробушкина, и в роде своем не последняя, продала я отставному армии прапорщику Прохору Егорову, сыну Алтынову, собственную свою крестьянскую девку Ульяну Борисову, рожденную после бывшей третьей ревизии, которая досталась мне по дарственной от законного мужа моего морского корабельного флота

¹¹ Раскеп – трещина, щель.

лейтенанта Капитона Иванова, сына Воробушкина, Рязанского уезда, Гамбургской дороги, из села Отрады, Хвостово тож, а взяла я, Авдотья Воробушкина, у него, Алтынова, за ту свою крепостную девку денег сто рублей, а наперед сей купчей она крестьянская девка от меня, Воробушкиной, иному никому не продана, не заложена и ни у кого ни в чем и ни в какой крепости не укреплена; а ежели кто во оную мою Воробушкиной крестьянскую девку станет почему-нибудь вступаться, то для очистки от сих вступающих данная мне, Воробушкиной, от прежнего той крестьянской девки, помещика подлинная дарственная запись ему, Алтынову, выдана при сем в состоявшей сей купчей. При впредь будущей ревизии означенную крестьянскую девку записать ему, Алтынову, за собою и за нее, как подушные деньги, так и прочие по указам поборы платить ему же и наследникам его, а мне, Воробушкиной, и наследникам моим до того дела нет. А о написании всей договорной цены без утайки семьсот пятьдесят второго года указ при сем объявлен...»

Мартыныч прочитал бумагу, как-то особенно искусно и незаметно переводя дыхание, так что не остановился ни на секунду... Голос его звучал несколько минут, как, бывает, после дождя гудит тоненькая дождевая струя, стекая из желоба в кадку.

– Ну-с, пожалуйста, распишитесь, – с кагал подьячий, – а там уж после я у себя в палате свидетельские рукоприкладства приищу.

Авдотья Ивановна с трудом, пыхтя и сопя, промарала нечто подходящее к письму... и вздохнула. Алтынов бойко и привычной рукой тоже «руку приложил» и прехитро расчеркнулся, точно будто чертика с хвостом и рогами нарисовал одним махом.

Затем и прапорщик, и подьячий собрались идти вместе окончательно узаконивать документ в губернский верхний надворный суд.

Красавица девушка, полудворянка и мастерица, была куплена очень сходно и выгодно. Алтынов тайне несказанно радовался покупке, ибо был убежден, что через несколько дней продаст ее любителю такого товара, бригадиру Воротынскому. Алтынов надеялся, не без основания, нажить на этот раз не менее трехсот рублей.

– Ну-с, до свидания, высокоблагородная Авдотья Ивановна! – сказал Алтынов, прощаясь. – Завтра утром принесу денежки, а вы уж будьте столь добры, приготовьте все... Что же хорошего, если она начнет ломаться, да придется мне, яко владельцу законному, идти за будочником?! Срамоту пустим на всю улицу, и не столько мне будет срамно, сколько вам. Что же? Я купил, деньги отдал, и вы продать были вольны! А тут вдруг будет послушание. Скажут все, что вы ей не барыня!

В эту минуту за спиной говорившего Алтынова раздался тихий голос:

– Никакого послушания и никакой срамоты не будет!

Все обернулись. Уля, бледная, но спокойная, стояла на пороге горницы.

– А будешь артачиться, – закричала вдруг Авдотья Ивановна, – так слышала? С будочником на веревочке через Москву и поведут!

– Позвольте, – протянул руку Алтынов к барыне, – не серчайте! Я уже им говорил, да оне слушать меня не захотели. – И он обернулся к Уле. – Опять я вам скажу, будьте спокойны! Хотя по документу вы значитесь простого, крестьянского звания, но я знаю, кто вы такая. Неужто вы думаете, что я покупаю вас для каких-нибудь черных и для вас неприличных работ? Помилуйте!.. Да на то у меня есть прислуга. Вам у меня будет житье хорошее. И горница у вас будет своя, и звать вас все будут по имени и отчеству – Ульяной Борисовной. И обиды вам у меня никогда никакой не видать, божусь я вам перед Богом... Вот, на образ глядя, крестом знаменуюсь...

Покуда Алтынов убедительно говорил, даже прижимал кулак к груди, Уля как-то тупо смотрела на него, и ни одной мысли ясной не было в голове девушки. Она действительно чувствовала, что за последние два дня как бы отупела. Сначала она все думала и раздумывала, как

избавиться от гнусной продажи; но, конечно, ничего не придумала, кроме как пойти утопиться, броситься с Каменного моста в Москву-реку, которая была в нескольких шагах от дома.

Теперь, глядя на грудь Алтынова, но которой он убедительно стучал себя кулаком, она бессмысленно считала медные пуговицы на его сюртуке и на камзоле, видела, как нескольких пуговиц не хватало, видела, как из кармана камзола торчал вязаный с бисером кошелек с рваным концом. Однако там, где-то на сердце, будто лежало тяжестью твердое решение – покончить с собой, которое она неуклонно надеялась исполнить.

Опытный крючок Мартыныч глядел теперь на нее, не сморгнув, через свои огромные очки, сидевшие как верхом на его огромном, красном носу. И, пристально всмотревшись в бледное лицо девушки, в ее большие ясно-серые глаза, Мартыныч чуть слышно пробормотал что-то и почесал у себя за ухом.

Он думал про себя:

«Ну, я бы тебя, стрекозу, покупать не стал... С тобой Егорычу-то помаяться немало. Ваша сестра, вот такая, как ты, такое колено отмочить может, что деньги прахом пойдут».

И Мартыныч вспомнил, как весной, после продажи одной дворовой девки, вроде Ули, он же ходил в суд по уголовному делу. Проданная девка зарезала своего нового барина, подожгла дом, а сама бежала и была уже поймана случайно в Ярославле.

– Так вы обещаете мне, – говорил между тем Алтынов Уле, – что никакого завтра содома у нас не будет? А то и припасу начальство... Потому что, как вам, может быть, неизвестно, бумага, написанная сейчас здесь, будет подписана в суде, а завтра утром и деньги ваша барыня от меня сполна получит.

Уля молчала и пристально, хотя чуть-чуть бессмысленно, смотрела в лицо Алтынова.

– Ответствуй же! Что столба из себя изображаешь!.. – закричала опять Авдотья Ивановна.

Уля спокойно перевела глаза на Авдотью Ивановну и выговорила тихо и медленно:

– Хотите вы одну мою просьбу, последнюю, исполнить?.. Позвольте мне остаться у вас денька три, покуда Капитон Иваныч совсем выздоровеет или уже... – голос Ули дрогнул, и она едва слышно прибавила: – или скончается...

Авдотья Ивановна и Алтынов переглянулись и молчали.

– Позвольте обождать. Или выходить Капитона Ивановича, или похоронить... И тогда я, как перед Богом, без всякого сопротивления пойду хоть к ним...

И продавщица, и покупатель молчали в нерешимости, не зная, согласиться ли с живым товаром. Опытный крючок Мартыныч решил дело.

– На мой толк, Прохор Егорыч, следуете вам дать свое согласие. С первого раза сделайте поблажку сей девице – будет не в пример лучше... Я их сестру знаю... С ними только лаской да потворством что сделаешь, а приказами или розгами ничего не поделаешь. Это ведь – извольте видеть – что такое? – указал Мартыныч прямо в Улю своим толстым пальцем, выпачканным в чернилах. – Знаете вы, что такое вот под сим серым платьем перед вами состоит? Ведь это, сударь мой, порох! Именно говорю вам: порох. Пороховой магази!.. Подсунь сюда сернячок или уголек, – в пример я так говорю, – так произойдет такое происшествие, что все тут вверх ногами встанет. Иная дурашная баба, доложу вам, может целый квартал одним чихом в месиво обратить! В римской истории, доложу я вам, был такой случай: одна римская баба во время одной войны...

Но Прохор Егорыч не дал Мартынычу рассказать про римскую бабу и про войну. Он обратился к Уле и, потолковав с ней, согласился на то, чтобы девушка оставалась у Воробушкиных вплоть до выздоровления или вплоть до кончины Капитона Иваныча, но обещалась бы добровольно идти к нему. Однако Алтынов дал Воробушкину срок и выздороветь, и умереть. Более недели ждать он не соглашался, и условие это было для него важно, так как тайные переговоры о перепродажи Ули были у него уже начаты.

Через минуту Алтынов и Мартынов вышли за ворота дома, и подъячий мелкими шажками, припрыгивая, едва поспевая за здорово шагавшим Алтыновым, досказал ему и про римскую бабу, и про войну и передал ему все свои соображения в доказательство того, что Алтынов напрасно купил порох в ситцевом платье.

– Ну, ну! – спокойно отвечал Алтынов, – не учи! Знаешь пословицу: «Ученого учить, только портить».

– Да я, Прохор Егорыч, знаю, что у вас ума палата, но извольте видеть...

– Да, братец, – сострил Алтынов, – у тебя есть палата, да только не *ума*, а казенная, а у меня именно палата ума. Не с этакими я дело благополучно до конца доводил, как эта девчонка. А если это порох, то мы, Мартыныч, первым делом его подмочим.

– Да как, Прохор Егорыч? Как подмочить?

– А вот как, голубчик. Уведу я ее к себе на целую неделю, сам буду перед ней на карачках ползать, да и всех в доме заставлю ей в глаза глядеть да ее приказы слушать. Ей мой дом и покажется раем небесным после криков да брани Авдотьи-то Ивановны. А там, как станет она у меня шелковая, тут я ее в гости и поведу – хоть к бригадиру, – да в гостях и оставлю. Оттуда бегай, сколько твоей душеньке угодно, когда я получу уже с него по документу триста рублей.

ХІІІ

В конце Знаменки, там, где она вдруг крутым спуском примыкала к речке Неглинной, на открытом месте торы стояли большие барские палаты, видные отовсюду... Дом выходил на Знаменку и переулок, а с горы шел вплоть до речки большой сад с огромными столетними деревьями. Дом был построен когда-то в начале столетия известным на всю Москву боярином Ромодановым.

Андрей Иванович Ромоданов уже лет с десять как умер. В этом доме жила теперь его вдова Марья Абрамовна Ромоданова, урожденная княжна Колховская, женщина лет шестидесяти, но которой на вид нельзя было дать и пятидесяти.

В огромном доме, кроме старой барыни, жил еще ее единственный внук, молодой барчонок, недоросль двадцати лет, Абрам Петрович, и затем десятки, если не вся сотня всякого рода прихлебателей.

Два огромные флигеля и многие надворные строения были переполнены бесчисленной дворней.

Еще в царствование императора Петра II¹², когда весь двор переселился в первопрестольную, вместе с этим двором переехал в Москву и князь Абрам Колховской с своей семьей. И здесь, в Москве, незадолго до смерти молодого государя, князь отдал свою пятнадцатилетнюю дочь, богатую приданницу, за придворного Андрея Ромоданова, который был почти нищ, но зато считался приятелем Долгорукого¹³, фаворита государя.

Не прошло и нескольких месяцев после свадьбы, как Долгоруков отправился в ссылку, и князь горько сожалел, что поспешил со свадьбой.

При воцарении государыни, покровительницы немцев, оба семейства, и Колховские, и Ромодановы, остались в Москве и перестали сразу быть близкими ко двору людьми.

Андрей Иванович Ромоданов, с первых лет супружества, не только забрал в руки свою молоденькую жену, но и всю ее родню. Он отличался умом, большим красноречием и тяжелым нравом и скоро был прозван в Москве Соловьем-Разбойником.

– Говорит – что твой соловей, а действует – что твой разбойник! – отзывались о нем знакомые.

Начиная от старого тестя и жены, Марьи Абрамовны, и кончая даже знакомыми, все трепетали перед Андреем Ивановичем. Князь-тесть вскоре умер, а молоденькая Марья Абрамовна была тотчас заперта, как в монастырь, и муж позволял ей только иногда появляться на больших балах или на больших обедах.

Но еще строже и безжалостнее относился Андрей Иванович к единственному сыну – Петру. Когда молодому малому минуло двадцать пять лет, он вдруг, совершенно неожиданно для всех, но тайным причинам, женил сына на очень бедной девушке, совершенно неизвестного рода, но замечательной красоты.

Через год в семье Ромоданова произошла драма. Был сделан донос императрице Елизавете Петровне на Андрея Ивановича. Государыня прислала в Москву двух сенаторов судить дело келейным образом, ради великого срама и чтобы не позорить дворянство. В чем состояло все это дело – рассказывалось в Москве на разные лады. Во всяком случае, молодая невестка, родив на свет ребенка, названного в честь прадеда Абрамом, через несколько дней умерла, но, однако, в чем-то успела покаяться перед своим молодым мужем.

¹² *Петр II* (1715–1730) – российский император с 1727 г., внук Петра I, сын опального царевича Алексея, приступил к демонтажу системы петровских реформ.

¹³ *Долгоруков Иван Алексеевич* (1708–1739) – князь, друг императора Петра II, при Анне Ивановне после длительной ссылки был казнен в Новгороде.

На похоронах во цвете лет погибшей жены молодой Петр Андреевич в церкви, во время заупокойной литургии, бросился на отца в два раза ударил его. Это произошло на глазах всей Москвы и стало известно всем. Но все, что присоединилось к этому рассказу, было двумя сенаторами, приехавшими судить дело, скрыто и замято.

После этой истории старый Андрей Иванович заперся в своем доме и окончательно не пускал к себе никого.

Через год умер и сын. И Москва заговорила, что Соловей-Разбойник уморил его, что не следовало после происшедшей истории оставлять молодого малого в доме старика, погубившего свою невестку.

Андрей Иванович прожил еще десять лет взаперти, чуждаясь людей, и вдруг собрался идти в монастырь.

– Пора старому греховоднику грехи свои замаливать, – отозвалась Москва.

Но старику не пришлось надеть рясы. За месяц до срока, назначенного для пострижения, он умер. Его нашли поутру мертвым в постели, а около постели – нечто, очень удивившее всех... Огромный портрет его покойной невестки, висевший всегда на стене, был снят и поставлен невдалеке от кровати. Каким образом портрет, который видели накануне вечером на стене, попал сюда – недоумевали все.

И вот, Марья Абрамовна, запертая более тридцати лет в доме мужа, вдруг стала свободна и независима. Сейчас по привычке она продолжала жить смиренно и тихо, почти не пользуясь большим состоянием, которое сумел удесятить покойный муж. Но понемногу, из года в год, Марья Абрамовна, как говорили про нее приятели, «вкусила древа познания добра и зла!».

Теперь Ромоданова, просидевшая в четырех стенах своей горницы с пятнадцати лет почти до пятидесяти, старалась как бы наверстать потерянное. Никто во всей Москве не жил так весело и столько не пользовался всякими развлечениями и удовольствиями, как Марья Абрамовна.

Дом ее был открыт для всех и был золотым дном для всякого, даже для ленивого, чтобы тащить и грабить. Марья Абрамовна была обкрадываема всеми, начиная с управителей в имениях и кончая ближайшими своими наперсниками. И состояние ее было уже теперь не в том виде, в каком оставил его покойный муж.

Ромоданова была женщина очень добрая и очень ограниченная. Сидение взаперти и постоянный трепет перед деспотом-мужем сделали то, что почти шестидесятилетняя и независимая женщина все-таки не имела теперь собственной воли, и ею помыкал всякий, кто бы он ни был, а управлял вполне самый искусный из всех, покуда не появлялся другой, еще более искусный. В доме ее шла постоянная война между самыми разнородными личностями, и всякий из них стремился подчинить своему влиянию богатую барыню. Но подчинить себе вполне Марью Абрамовну было невозможно, именно потому, что человек самый искусный или просто последний, вышедший из ее горницы, переделывал все на свой лад. Таким образом выходило, что она слушалась и всех, и никого.

Было, однако, три лица, которые делали из нее почти все, что хотели, и если бы они соединились вместе и стали действовать сообща, то, конечно, все ее имение скоро перешло бы в их руки. Но, на свою беду, эти три человека боролись между собой и были злейшие враги.

Первый из них был гувернер внука-недоросля и в то же время домашний врач, главный советник и наперсник барыни, уроженец Митава, Христиан Кейнман.

Это был человек лет под сорок, но лицом казался чуть не юношей. Белый, розовый, пухлый, какая-то смесь булки с пастилой. Вместо бороды и усов у него был, несмотря на года, юношеский пух и при этом светлые, почти белые, детски-добродушные глаза. Он был любимцем не только Марьи Абрамовны, но всех вообще московских барынь, и преимущественно пожилых. Будучи родственником и тайным помощником в некоторых делах знаменитого в то время в Москве доктора штатт-физикуса Риндера, Кейнман проник во все дома столицы.

Приобрет порядочные средства от добросердых московских дательниц, он мог бы уже давно поселиться самостоятельно, но предпочитал жить в доме Ромодановой и называться гувернером ее внука... На это были особые причины... У немца была впереди давнишняя серьезная цель, и теперь он уже начинал усиленно к ней приближаться. Дело было в том, чтобы законным образом как-нибудь похерить своего питомца, недоросля Абрама. Чем более в барыне росли и укреплялись дружба и доверие к немцу, тем скорее должна была решиться участь ее внука.

Москва толковала, что будто бы Марья Абрамовна давно уже не Ромоданова, а госпожа Кейнман, и что не нынче завтра тайный брак ее с учителем будет объявлен, но это нелепость. С времени знакомства бодрой и веселой барыни-вдовы с немцем прошло лет пять-шесть, и Москва напрасно ждала «срамного происшествия». Ромоданова была не из тех барынь, что заводила себе домашних любовников.

Другая личность, безвыходно торчавшая в гостиной, спальне и вообще во всех горницах дома без исключения, как свой человек, был монах Донского монастыря, отец Серапион.

Монах был совершенная противоположность пухло-розовому учителю. Отец Серапион был черен, смугл, длинен, худ, с крючковатым носом, с узенькими черными глазами и с такими бровями на лбу, что у иного в тридцать лет нет таких и усов. Что касается до густой бороды, то у него, по воле природы, была за двух – и за себя, и за немца.

Под всем известным в Москве именем отца Серапиона скрывался, как говорили, какой-то кавказский князь, бежавший с родины после убийства своей возлюбленной и ее мужа. Последнее, быть может, добавила сама Москва; в действительности же верно было только то, что отец Серапион был несомненно восточного происхождения, вернее всего – грузин. Монах был человек вовсе не свирепый и не страшный, напротив, – очень веселый и приятель со всеми. Единственная личность, с которой он был постоянно на ножах и которого страшал как-нибудь прирезать, был немец.

Общего между ними ничего не было, – ни капли. Только разве одна особенность: как, со своей стороны Кейнман ломал русский язык, которого никак не мог выучить, точно так же и отец Серапион, несмотря на русское монашеское платье, тоже говорил таким особенным, исковерканным языком, что часто одним русским словом своего собственного сочинения распотешивал целое общество.

Третье лицо, и самое влиятельное, в доме Ромодановой, которое Марья Абрамовна обожала – и уже давно, еще при жизни покойного деспота мужа, была дворянка, однодворка, жившая в доме с молодости, и почти ровесница самой барыне. Так как Анна Захаровна Лебяжьева была наперсницей и первым другом Ромодановой еще во время ее замужества и заточения, то понятно, что теперь она стала первым лицом в доме, и у нее за последние года накопился уже такой капитал, что она купила себе подмосковное имение.

Анна Захаровна ухитрилась быть другом и балтийского учителя, и кавказского монаха. Каждый из них, считая себя ее приятелем, все-таки старался ее выжить из дома и более или менее занять ее место; но это было невозможно. Без Анны Захаровны Ромоданова не прожила бы и трех дней, и, в сущности, первое лицо и хозяйка в доме была эта приживалка Лебяжьева. Она же занималась всеми мамушками молодого барина, Абрама Петровича, и вообще его воспитание касалось до нее одной, так как Марье Абрамовне, при всех ее затеях и веселой жизни, не было времени заниматься внуком.

Несмотря на то, что бабушка почти не видала внука и он проводил целые дни в девичьих и во флигелях с дворней, однако Марья Абрамовна все-таки почему-то тяготилась его присутствием в доме. Благодаря именно этому обстоятельству, в последнее время было решено распорядиться судьбой молодого недоросля на особый лад.

После совещания, на котором присутствовали четыре лица: сама Ромоданова, друг-приживалка, друг-учитель и друг-монах, было решено отдать Абрама в монастырь.

На этот раз, впервые в жизни, отец Серапион оказался одинакового мнения с Кейнманом.

Упечь молодого недоросля в послушники, а потом в монахи было выгодно для всех в доме, ибо все боялись, что через год-два Абрам Петрович может жениться, и хотя, конечно, ему выберут жену, но ведь на грех мастера нет, – и вдруг явится новая барыня, молодая, и приберет все в руки, начиная с Марьи Абрамовны. Так или иначе, но декабрь месяц 1770 года был почему-то поставлен как последний срок поступления молодого, уже двадцатилетнего барчука в один из московских монастырей, преимущественно в Донской¹⁴. С ним вместе должен был поселиться, в качестве наставника, отец Серапион.

Об этом уже не раз совещалась и Ромоданова, и даже Анна Захаровна с преосвященным Амвросием¹⁵, московским архиереем.

Если бы преосвященный согласился сразу с мнением богатой и легкомысленной барыни, то Абрам был бы уже давно в рясе; но, на беду затейников, преосвященный каждый раз советовал Марье Абрамовне дело отложить и не спешить, и только за последнее время он согласился на то, чтобы молодой Ромоданов поступил в послушники в монастырь, где брат преосвященного, Никон, был архимандритом, т. е. в Новый Иерусалим. В этот день Ромоданова позвала к себе внука, осталась с ним глаз на глаз и долго разясняла ему дело, открывала все прелести, спокойствие и богоугодность монашеской жизни. Абрам слушал бабушку долго, внимательно и с веселым выражением лица. Он не боялся монастыря; ему казалось, что на свете так весело жить, что всюду будет весело. Однако, когда бабушка кончила свою речь, Абрам ласково и заискивающим голосом сделал ей неожиданный вопрос:

– Бабушка, голубушка!.. Нельзя ли уж вам попросить преосвященного меня назначить не в Новый Иерусалим, а в Зачатьевский или вот в...

– Да ведь он женский!..

– Ну, то-то, в женский... Голубушка, бабушка!.. Попросите... Я знаю, что это не полагается... Но ведь если преосвященный прикажет...

Ромоданова очень рассердилась и тотчас прогнала внука без всяких разговоров.

Абрам был далеко не глуп, но сильно избалован своей средой и обстановкой. Кроме того, молодой недоросль, мало и редко выдавший веселящуюся бабушку и не любивший ее, был всей внешностью и лицом вылитый портрет деда, Андрея Ивановича, память которого не была сладка бабушке. Зато нравом своим Абрам был в мужском платье – Марья Абрамовна. Даже характером своим, своею беспечностью, легкомыслием и своею бесхарактерностью внук был похож на бабушку, как мог бы только походить родной сын на отца или мать.

Ромоданова порхала по Москве, повинуюсь и собственной потребности, и по советам всех своих друзей и приятелей, а Абрам сидел больше дома с своими приятелями и приятельницами, с приживалками, с дворовыми, санными и горничными девушками и тоже веселился на свой лад.

И точно так же, как Анна Захаровна, немец и монах воевали между собой по поводу преобладания и власти над старой барыней, точно так же вокруг Абрама воевали дворовые и преимущественно санные и горничные за владение молодым барином.

Разнохарактерное население больших палат относилось к барыне и барину особенно. Марья Абрамовна, добрая, но взбалмошная, никому ни в чем не отказывавшая, не была, в сущности, никем любима. Часто за ее спиной, почти все без исключения, целая сотня дармоедов, начально издевалась над ней и ругала ее. Точно так же и юного барича, за исключением его наперсниц, никто не любил в доме, – ни нахлебники, ни дворовая мужская половина. Даже Анна Захаровна, его воспитывавшая, относилась к нему равнодушно и не только не мешала

¹⁴ Донской монастырь – московский мужской монастырь, основанный в 1591 г.

¹⁵ Амвросий (Андрей Степанович Зертис-Каменский; 1708–1771) – архиепископ Московский, один из ученейших и образованнейших людей своего времени; был убит возмущенным народом во время чумного бунта.

его любовным похождениям, но даже потворствовала им. Ей было не до того; у нее было всегда две цели в жизни, из которых одна уже была достигнута: нажить хорошенькое состояние и выйти замуж за красивого молодого человека из полудворян.

Среди десятков всяких приживальщиков в доме Ромодановой особенно отличались от всех четыре существа.

Первое из них, самое заметное, была здоровенная, сильная, как добрый мужик, добродушная, как любой ребенок, ласковая со всеми и вечно улыбающаяся, старая арапка, за которую Марья Абрамовна заплатила такие деньги, на которые можно было бы купить целое подмосковное имение в сто душ. Арапку привезли в Петербург на корабле и прочили продать самой императрице Елизавете Петровне, но государыня скончалась, а новая молодая государыня не пожелала иметь арапки, называя это глупым обычаем.

Один из друзей Ромодановой, петербургский сенатор, был ей должен тысячу рублей, давно взятых взаимобразно у богатой вдовы, и, чтобы расплатиться с ней, прислал ей арапку.

Ромоданова махнула рукой на долг и оставила арапку у себя.

Другая фигурка, отличавшаяся от прочих, была маленькая карлица, про которую ходил слух, что она «сбоку» приходится племянницей самой барской барыне Лебяжьевой.

Это была уже двадцатилетняя девушка, страшно дурная собой, злая и старообразная. Настоящее имя ее почти все забыли, хотя она и родилась в этом доме. Все звали ее «Тронькой», и все всячески дразнили ее.

Давным-давно барыня погрозила однажды, еще восьмилетней девчонке, ее ударить. Девчонка, при всех гостях, вдруг почему-то окрысилась, озлилась, погрозила сама кулаком и вымолвила:

– Тронь-ка, попробуй!..

И к удивлению барыни и всех присутствующих, она злобно, ехидно повторила несколько раз:

– Тронь-ка! Тронь-ка!..

Девчонка была наказана сильно и вдобавок с тех пор осталась с этим прозвищем. Грубое слово, сказанное барыне, заменило собой имя, данное при крещении.

От природы ли или от суровой жизни, но двадцатилетнее существо, хотя и казалось ребенком по росту, по злобе своей было совершенный зверь. Иногда Тронька, доведенная шутками дворни до иступления, падала на пол, и с ней делались припадки, от которых разбегались боязливо все праздные шутники.

Наконец, года три назад, одна из дворовых женщин, особенно награждавшая Троньку колотушками, поймала карлицу над таким занятием, о котором хотели довести до начальства. Тронька, подставив стул к люльке полугодового ребенка этой женщины, умолилась на нем и тихонько колола его булавками всего до крови.

Тут вспомнили, что за год перед тем ребенок одной из дворовых женщин – неизвестно как – истек кровью. Троньку чуть-чуть не разорвали на части, застав за этим занятием, и сама Анна Захаровна должна была спасти ее от разъяренной толпы дворовых. Зато с тех пор Тронька не могла пройти ни одной комнаты, чтобы не получить от кого-нибудь здоровую колотушку, и как с тех пор жила она и не зачала, – надо было удивляться живучести ее натуры.

Третье замечательное лицо в доме Марьи Абрамовны был недавно приобретенный каракалпачонок.

Так как во всех домах Москвы водились киргизята, калмычата и башкирчата, поэтому богатой барыне было это не диво. Всех калмычат, которых она имела, она раздала и, узнав, что мудренее всего иметь каракалпачонок, она тотчас выписала себе пару через оренбургского вице-губернатора; но один из них умер на дороге.

Этот молодой дикарь, лет восемнадцати, по имени Ахей, не отличался ничем особенным. Многие принимали его просто за дворового мальчугана, хотя отчасти смахивающего на кал-

мычонка. Единственно, что умел он делать, – это петь какую-то песню с таким диким визгом, что всякий, кого угощали этой затеей из соседней горницы, думал невольно, что там кого-нибудь режут ему на потеху.

Четвертое существо, наиболее уважаемое во всем доме, с которым все обходились ласково и предупредительно и которое, в противоположность всеми битой Троньке, все ласкали, – был здоровенный, белый, жирный, заморский, очень дорого заплаченный кот.

Его обожала Марья Абрамовна, любил даже Абрам, и если не любили, то ласкали сотни рук во всем доме и флигелях. Все, от барыни и до последней девчонки в доме, иначе не называли как: «Василием Васильевичем». Еще барыня позволяла себе иногда в минуту нежности назвать его «Васей» и «Васинькой», но никто из приживателей и прихлебателей никогда бы не осмелился обратиться к барскому коту иначе как со словами:

«Мое почтение! Как ваше здоровье, Василий Васильевич?»

Наконец, – сверх всех этих заметных личностей дома Ромодановой, – отличался от всех особенно резко и не имел с ними ничего общего дворовый человек, Иван Дмитриев. Это был холоп-деспот, наследие прошлых лет и покойного Андрея Ивановича.

XIV

Первого декабря, часов в десять утра, в доме Ромодановой было маленькое волнение.

Барыня наконец собралась ехать к преосвященному Амвросию перетолковать окончательно о поступлении внука в послушники.

Давно уже все домочадцы и дворня толковали об этом, но всякому думалось, что Марья Абрамовна, откладывая свое намерение в долгий ящик, успеет сто раз умереть, прежде чем молодой барчук поступит в монастырь.

Сам Абрам был несколько теперь смущен при виде сборов бабушки. Разумеется, несмотря на уверения Анны Захаровны и особенно отца Серапиона и на все их доводы, что Абраму будет в монастыре гораздо приятнее и веселее жить, нежели дома, молодой малый, узнав, что никак нельзя поступить в женский монастырь, стал грустить не на шутку. Он понимал, что дурашная бабушка выдумала Бог весть что. Кто-то сказал ему, надоумил, что надо бы поступить в офицеры гвардии, а не в монахи.

На дворе уже была подана к подъезду огромная, светло-голубая карета, с позолоченными фонарями, с огромными козлами в ярко-желтом чехле. Шесть лошадей цугом с форейторами нетерпеливо двигались и играли, так что несколько конюхов держали все три пары под уздцы.

Наконец показалась барыня, провожаемая большой свитой, в числе которой были, конечно, Анна Захаровна, сам виновник торжества, смущенный внук, несколько других приживалок и даже арапка. Все стали на подъезде, и одна Марья Абрамовна, посаженная восьмью руками, весело впорхнула в карету, сказав кучеру свою всегдашнюю фразу:

– Смотри, Аким, не убей барыню.

Это говорилось всякий день по три и четыре раза, при всяком выезде. Кучер Аким, сильный и бодрый старик, с огромной бородой, каждый раз отвечал:

– Помилуйте, матушка-барыня! А Бог-то на что же?

Однако предупреждение это было не лишнее, так как Ромоданова держала кучу великолепных лошадей, молодых и бойких, и с ней постоянно бывали маленькие происшествия.

Когда в Москве говорили, что кого-нибудь разбили лошади, чью-нибудь карету растрепали вдребезги, то москвичи всегда спрашивали, не Марью ли Абрамовну. Многие советовали ей завести себе более смирных коней, но Ромоданова всегда отвечала:

– Я не мещанка, чтобы с кнута ездить.

Два высоких, красивых гайдука ловко влезли на запятки кареты. Вся свита барыни полукругом осталась на подъезде и проводила глазами высокую, тяжело колышащуюся на рессорах колымагу.

Когда экипаж выехал за ворота и шибко двинулся по улице, вышедшие из дома стали расходиться.

Молодой барин стоял на краю подъезда, смущенный, опустив голову, неподвижно и, глубоко задумавшись, продолжал глядеть на ворота, где исчезла сейчас карета бабушки.

– Что, соколик, сгрустнулось, – выговорила около него полная женщина, с толстым, немного красноватым лицом.

Это и была его воспитательница Анна Захаровна, барская барыня.

– А как же не грустить? Вы как бы думали? Этакое глупство затеять?.. Богатейшего вельможи внука да в монахи отдавать... За это и барыню, и вас, а пуще всего вас... розгами бы... Да! розгами! Да еще моченными в квасе...

Это выговорил дворовый Иван Дмитриев.

Анна Захаровна только отмахнулась рукой. Говорить или спорить с Дмитриевым все считали в доме невозможным: это было все равно что воду толочь. Во-первых, все знали его особую страсть противоречить во всем, всегда и всем, потом знали, что Дмитриев за словом в

карман не полезет. Если он мог постоянно грубить барыне, то с остальными, конечно, позволял себе все, что хотел.

Единственное лицо в доме, никогда не слыхавшее от Дмитриева дурное слово, – был молодой барин.

– Чем же плохо будет Абраму Петровичу в монастыре? Выстроит себе келью свою... – заговорил отец Серапион, появившийся тоже в кучке, столпившейся на подъезде.

– А ты бы уж, отче из турок, помолчал лучше! – огрызнулся Дмитриев на монаха-казца. – Тебе это на руку. Ведь тебя прочат с барином в пустыне-то на житье... Ну да, нехай, пусть идет в послушники. Помрет барыня, так мы рясу-то вывернем наизнанку, и выйдет у нас капральский мундир.

– И как ты, – вдруг вскрикнула Анна Захаровна, – смеешь этак говорить про барыню! Дай Бог ей еще сто лет здравствовать!..

– Не кричи – перекричу! – тихо, но грубо отозвался Дмитриев. – А сметь я стал, когда еще ты не смела утереть носу без спросу! Ты ведь, поганая, с ним, туркой, да с немцем выдумали первого московского жениха и молодца в монастырь упрятать. Я бы тебя самое в схиму бы посвятил да живую бы в Киево-Печерской лавре в пещерах зарыл по горло в землю или бы замуровал в стену по пояс. И была бы ты у меня, волей-неволей, Анной-столпницей! Уж там бы не стала об женишках помышлять!

Анна Захаровна махнула рукой и отвернулась. Стоило только кому-либо ее попрекнуть ее заветными мечтами о замужестве, и она тотчас отступала побежденная.

Дмитриев обернулся к барину и потянул его за руку.

– Пойдемте мы с вами ко мне, раскинем мыслями, как нам в монастыре-то пристроится, чтобы скоромничать вволю.

И Дмитриев увел Абрама к себе в горницу.

Отец Серапион вместе с Анной Захаровной отправились в горницы барской барыни, где уже был приготовлен самовар.

Едва только приятели уселись за чай, как явилась в горницу одна из бесчисленных сенных девушек и стала оглядывать всю комнату.

– Ты что? – рассердилась Анна Захаровна.

Она не любила, чтобы ее беседы наедине с отцом Серапионом нарушались кем-нибудь из дворни.

– Да вот, позвольте видеть, – начала горничная, – я насчет Василия Васильевича... он у вас?

– Видишь, что нет.

Горничная вышла из горницы, встретила в большой прихожей с дворецким дома и сделала ему тот же вопрос:

– Николай Кузьмич, не видали ли вы, где Василий Васильевич?

– Нет, не видал.

Горничная отправилась далее. К ней навстречу бежала крошечная и дурнорожая Тронька и издали уже кричала.

– Там нигде нет, мы обежали все горницы.

Через несколько минут в большей половине дома Ромодановой сновали десятки смущенных людей – дворовых, горничных – с одним и тем же именем на языке. Всех занимало одно: где Василий Васильевич? Не прошло и десяти минут, как уже весь дом, десятки народа, начиная от самой Анны Захаровны и отца Серапиона и кончая арапкой и каракалпачонком Ахеем, все было на ногах. Многие выбежали на двор, некоторые даже на улицу, и везде повторялись одни и те же слова:

– Василий Васильевич! Пропал! Нету!!

Добрая и ласковая барыня была Марья Абрамовна, никто ее особенно не боялся и особенно не любил, но все поняли теперь, что на свете всему есть границы.

Можно было иногда ей грубить, можно было иногда не исполнять в точности ее приказаний, но допустить пропажу Василия Васильевича было уже нельзя. Все были перепуганы. У Марьи Абрамовны все-таки бывали в жизни минуты и даже дни, в которые она круто и безжалостно поступала с своими рабами.

Теперь невольно и вдруг все вспомнили, как за два года перед тем две семьи дворовых пошли в Сибирь из-за того, что маленькой собачонке барыни перебили лапку.

Большая часть всего люда, населявшего большой дом Ромодановой, тотчас бросилась со двора и рассыпалась по всем соседним улицам, расспрашивая и разузнавая, где может быть беглец.

Между тем Марья Абрамовна сидела уже в приемной московского преосвященного. И старый, седой как лунь монах пошел доложить о ней и еще не возвращался. Барыня и не подозревала, но чуяла сердцем, какое страшное несчастье случилось за ее отсутствие в ее доме. Василий Васильевич был ее первый и неизменный друг, разделявший даже ее вдовье ложе.

XV

Ивашке совсем не везло в Москве. В недобрый час, зная, приехал или треклятая старуха ведьма сглазила его. Поступил он в услужение к больному офицеру. Житье было плохое, впроголодь, ибо кормили плохо. Денщик-солдат все сулил Ивашке, что выздоровеет барин – будет житье лучше, но офицер становился день ото дня все плоше.

В первый день, что Ивашка поступил, больной был еще на ногах, и Ивашка его видел; но офицер тотчас же приказал денщику парня к себе в спальню не пускать, чтобы незнаемый человек чего не украл. Ивашка так обиделся, что хотел даже уходить. Дня через три офицер совсем слег в постель и уже не вставал, а еще через два дня не отходивший от любимого барина денщик просил Ивашку помочь кое-что убрать в горницах в спальне.

– Да ведь как же быть? Ведь он не приказывал к нему входить, – заметил Ивашка.

Денщик махнул рукой.

– Не бойсь, не увидит... Он уж не в себе. Так его захватило, что ничего не смыслит и окоlesiцу несет.

Действительно, убирая горницу, Ивашка взглянул в спальню и увидал на постели офицера. Молодой барин настолько переменялся за несколько дней, что Ивашка подумал, не другой ли лежит на кровати. Одно только поразило Ивашку: рука офицера и плечо, высунувшиеся из-под одеяла, напоминали ему его старую спутницу. Ивашке показалось, что те же самые черные пятна, какие видел он на старой ведьме, были и на офицере. Но Ивашка сам себе не поверил.

– Этакая пустяковина какая в голову лезет! – подумал он. – Та была хворая, и этот хворый – это верно. Но чтобы у них у обоих одна и та же хворость была – это совсем пустое.

Наутро Ивашка снова должен был войти в горницу больного.

Офицер не спал, глядел во все глаза, но лежал неподвижно, даже глазами не шевелил, и опять показалось Ивашке, что у него такие же кровью налитые глаза, какие у той бабушки были.

Денщик от усталости и бессонных ночей около барина тоже прихворнул и с утра лежал в кухне, на ларе. Лекарь и два фельдшера, лечившие офицера, стали бывать чаще; фельдшера стали уже ночевать, говоря, что долго не продежуришь: скоро больному конец.

Наконец, на второй день после того, что денщик захворал, а Ивашка его заместил, лекарь, навестивший больного, подошел при Ивашке к кровати, ощупал больного и щелкнул языком.

– Готово! – выговорил он.

Офицер был мертв.

Ивашке, недавно нанятому пришлось хлопотать о похоронах, потому что денщик лежал в кухне в бреду и нес такую же окоlesiцу, как его барин несколько дней назад.

Так как Ивашка, только что приехавший в столицу, ничего не мог сделать один, то лекарь дал ему в помощь одного фельдшера. Нашлись у офицера в шкатулке кое-какие деньги. На них его и похоронили, дав предварительно знать в полицию, а равно и в военный госпиталь.

Приехал доктор, важный, с орденами, расспрашивал фельдшеров и лекаря, как и отчего помер офицер. Они рассказали.

– Чудно, – сказал важный доктор, – это, должно быть, горячка, да из самых скверных, гнилых.

Денщика, который был в безнадежном состоянии, по приказу важного доктора, положили в тележку и отвезли в военный госпиталь, на Введенские горы. Ивашка вдруг остался опять без места, – хоть на улице ночуй! Не зная, что делать и не желая идти на хлеба к Воробушкиным, Ивашка обратился с просьбой к лекарю.

– Что же, пожалуй, – отвечал тот, – иди ко мне из-за харчей, а жалованья я тебе положить никакого не могу. Я человек бедный.

Ивашка тотчас согласился. Он рад был найти хоть кров.

На другой день он был уже на квартире лекаря, человека холостого, одинокого и очень доброго. Через два дня после поступления, проснувшись утром, Ивашка стал по приказанию будить нового барина. Лекарь поднялся, напился чаю, но опять лег спать, жалуясь на смертельную боль в голове.

«Скажи на милость! – подумал Ивашка. – И этот захворал».

– Что это у вас здесь, в Москве народ какой все хворый! – заметил Ивашка в разговоре с фельдшером.

– Нет! – отозвался фельдшер. – Мы в Москве – ничего. А я вот так полагаю, что та самая офицерская горячка, что ни на есть заразительная, оттого и денщик захворал, и лекарь. Да и я, признаться сказать, что-то себя плохо чувствую.

Наутро новый барин Ивашки не вставал с постели, а фельдшер все жаловался, что ему очень не по себе и к вечеру тоже слег.

Через три дня Ивашка вдруг очутился в новой квартире один с двумя покойниками. Послали его в этот день на рынок купить яиц и капусты; когда же он вернулся, то нашел фельдшера мертвым, а барин-лекарь при нем последний вздох испустил.

Старуха, хозяйка дома, взяла на себя распорядиться похоронами.

– А ты, паренек, – сказала она Ивашке, – убирайся на все четыре стороны! У тебя, должно быть, глаз скверный. Останешься здесь – и меня сглазишь, и я помру. Уходи да и не заглядывай ко мне в дом!

Ивашка опять очутился на улицах Москвы, на морозе, без дела, без крова, да вдобавок еще голодный.

«Мудрено здесь жить, – думал он, грустно и тихо двигаясь по незнакомым ему улицам. – Уж лучше бы на село, просить мир, чтобы назад пустили. Буду старательно работать, хоть мужицкое дело и не под силу. А все-таки лучше, чем здесь, в столице, из дома в дом мыкаться».

Более всего занимало и беспокоило Ивашку то обстоятельство, что он как будто всем, к кому поступал, – приносил несчастье.

«Оно и в самом деле, – думал он, – глаз у меня, должно быть, скверный. Ведь хозяйка-то правду сказала...»

И он вдруг остановился среди улицы: это соображение перепугало его. Выгнанный старухой из дома, он поневоле шел теперь к Воробушкиным просить пристанища, хоть дня на два. Уля может его к себе в горницу пустить. Но соображение, что если у него этакий глаз – он может тоже сглазить Улю или Капитона Иваныча, – испугало его.

Ивашка остановился, сел у ворот первого появившегося дома и не знал, что делать. Голод его мучил, а куда идти и как быть – он не знал. Он начал соображать и рассуждать сам с собой.

«Ведь по приезде в Москву был же он у старых господ и у дорогой Ули? Ведь не сглазил же их. Правда! А ну, как теперь сглазит!.. Нет, негодно это!.. Не пойду я к ним!» – решил Ивашка.

Просидел он около часа у неизвестного ему дома. Голод все сильнее сказывался в нем, да вдобавок как-то голова отяжелела, стало нездоровиться.

Сколько просидел бы тут Ивашка – мудрено сказать, если бы к нему не подсел, чтобы отдохнуть по дороге, какой-то человек с большими очками на носу и в длинном кафтане. Барин не барин, да и не простого звания.

Глянув пристально в бледное лицо парня через свои большие очки, вновь подсевший спросил его:

– Кто ты таков? Откуда?

Ивашка объяснился.

– Те-те-те! – проговорил подьячий. Это был Мартыныч. – Вон как! гора с горой не сходится, а люди-то как, бывает, могут встренуться... А я чуть не прямехонько из дома твоих старых господ – Воробушкиных.

Однако Мартыныч, прежде чем начать говорить, порасспросил Ивашку и, когда узнал все, что было ему нужно, не сказал Ивашке ни слова о продаже его молочной сестры. Помолчав немного и пораздумав, Мартыныч, как-то хитро ухмыляясь, спросил:

– Так в животе-то пусто? Бурчит? Голоден?

– Да-с, со вчерашнего дня маковой росинки не видал.

– Ну, иди за мной. Я тебя накормлю. Только ты, братец мой, не пеняй – даром кормить не стану. Мне давно нужен верный человек и трезвый. Ты у меня на побегушках будешь... У меня делов много... Посылать приходится в разные концы, везде сам не добежишь. Вот я тебя за мой хлеб и буду рассылать, да, окромя того, с тебя что-нибудь еще получу. У тебя тут что, в мешке-то? Какое добро?

Ивашка развел руками. В его небольшом мешке, кроме всякого тряпья, ничего не было. Только и была одна шапка из хорошего бобра с меховым околышком, которую ему позволили взять после покойного офицера, в виде жалованья за прослуженные дни.

– Какое же у меня добро? – сказал он, – вот шапка есть. Коли желаете, извольте...

– Покажи.

Ивашка живо развязал мешок, отыскал в тряпье шапку меховую и подал Мартынычу.

Мартыныч примерил ее; она пришлась как раз на его лысую голову. Он даже обрадовался и весело хлопнул рукой по голове и по шапке.

– Ладно, шапка моя, а я тебя за нее месяц буду даром кормить. Ну и посылать тоже, парень, буду – страсть!.. Верст ты мне двадцать пять верных за день набегашь.

– Этого я не боюсь, – повеселел Ивашка.

Через несколько минут Мартыныч и Ивашка уже входили в небольшой домик подьячего. Их встретили пожилая женщина и целая орава детей более дюжины и всех возрастов, мал мала меньше.

– Вот вам нового батрака привел, – заявил Мартыныч, – звать Ивашкой. Только, чур, ты его, Марфа Герасимовна, – обратился он к жене, – по хозяйству не помыкай... Он у меня в гайдуках будет состоять и на посылках.

XVI

Новое место очень понравилось Ивашке. С следующего дня началась его служба, состоявшая в том, что он бегал из конца в конец по всей Москве с разными поручениями от своего нового барина.

Одна только беда была: все как-то нездоровилось Ивашке; то полегчает, то опять хуже. На третий день после поступления на новое место ему совсем было скверно; просто ноги не ходят и голова как свинцом налита.

День этот был суббота, и много людей попадались Ивашке краснорожих, с вениками под мышкой. Ему пришлось тоже на ум пойти в баню.

Здорово выпарившись на полке, Ивашка еще с двумя другими мещанами, ради потехи, выскочил на мороз, вывалился в сугробе, и опять полез на полку париться.

Ночью его всего исковеркала лихоманка, но на другой день утром, встав пораньше, чтобы успеть побывать у ранней обедни, Ивашка в церкви только вспомнил о своей хворости. Здоровехонек был малый. В тот же день, несмотря на воскресенье, Мартыныч послал его с новым поручением.

– Ты мне ныне, хоть и в воскресный день, одну посылочку отхватай. Только одну!

Эта одна посылочка была зато хорошая. Мартыныч послал Ивашку в военный госпиталь, на Введенские горы. Ивашка отправился с радостью.

«Узнаю там, – подумалось ему, – про того денщика офицерского... Коли он здоров, так, может, мне опять местечко с жалованьем достанет».

Передавая какую-то бумагу от Мартыныча самому главному доктору госпиталя, Шафонскому, Ивашка увидел, что он ему знаком.

– Эй, парень, – сказал главный доктор, – да я тебя видал. Ты, никак, был в услужении у того офицера, что помер в Лефортове?

– Точно так-с.

– Ну, а ты что? Здоров?

– Слава Богу-с.

– Ну, счастлив ты.

Ивашка хотел было спросить о денщике офицера, но не успел и рот раскрыть, как Шафонский сам сказал:

– А твой, брат, товарищ, солдатик-то, давно помер от той же болезни.

Ивашка ахнул.

«Вот тебе и денщик! – подумал он, – а я его было о месте хотел просить... Он мне теперь, кроме как на том свете, никакого не достанет».

Ивашка даже усмехнулся.

«Нет, этакое место зачем? – подумал он. – Этакое место я всегда успею сам себе достать».

– Это еще что, он помер – это не важно, – продолжал Шафонский. – А вот что скверно: болезнь-то свою гнилую занес, кажется, он к нам в госпиталь. Тут у меня уже семь человек больны той же самою гнилою хворостью.

Ласковый доктор отпустил Ивашку и велел передать Мартынычу на словах, что по известному делу сам заедет дня через два.

Уже в сумерки вернулся Ивашка на квартиру и, войдя в дом хотел было пройти в горницу, где всегда работал новый его барин, но Марфа Герасимовна остановила его.

– Что тебе? Не ходи. Не велел себя тревожить. Ему что-то нездоровится.

Марфа Герасимовна сказала это самым простым и спокойным голосом, не переставая вязать чулок, но Ивашка от этих слов ахнул во всю глотку и руками всплеснул.

– Что ты, что ты! – оторопела хозяйка.

Но Ивашка и сам не знал, что отвечать. Его неожиданно, сразу поразила мысль, что новый, уже третий хозяин, тоже захворал.

Мартыныча ему, конечно, было не жаль, но его перепугала мысль, что если бы он решился отправиться к Уле, то наверное сглазил бы ее, и теперь она была бы хвора.

– Вот что, Марфа Герасимовна, – начал Ивашка решительным голосом, – я от вас уйду совсем.

– Что ты! – удивилась опять хозяйка.

Ивашка объяснился подробно и откровенно. Марфа Герасимовна была женщина добросердая, толковая, ей жаль стало парня.

– Что ты, голубчик, этакой вздор мелешь!.. Все враки. Нешто глаз есть? нешто здорового человека глазом сделаешь хворым? Все пустое... Оставайся...

Но Ивашка упорно стоял на своем.

– Да ведь он, поди вечером встанет здоровехонек! – уговаривала его хозяйка, – ведь ему так только малость прихворнулось. Это даже с ним часто бывало, только вот ныне на голову жалится, а то, бывало, на ноги жалился. Полно, пустое все...

Но Ивашка уперся, как осел, пошел за своим мешком и, взвалив его на плечи, пришел прощаться.

– Нет уж что ж! Бог с вами! Вы были до меня ласковы. Уж такая моя несчастная судьба. Пойду уж куда-нибудь, найду себе пристанище, а то от этакого греха на село вернусь. Там у меня этакого глаза не было. Это меня под Москвой одна старая ведьма испортила.

– Ну, как знаешь, Господь с тобой! – выговорила Марфа Герасимовна.

Но когда Ивашка был уже на улице, она выбежала за ворота и стала его звать.

– Стой, стой... Шапку! Шапку возьми!

– Какую шапку?

– А вот шапку твою... как же можно, за что же? Мы грабители, что ли! Ведь ты шапку отдавал за харчи, за целый месяц, а теперь уходишь. Бери, бери...

Ивашка было стал отказываться, но хозяйка настаивала на своем. Стащила с него мешок, развязала его сама и сунула туда шапку.

У Ивашки не было ни гроша денег; единственная вещь, которая могла дать ему возможность прокормиться несколько дней, была эта шапка. Он подумал, согласился и даже поблагодарил добрую хозяйку.

XVII

Пройдя две-три улицы, Ивашка остановился.

– Господи помилуй! – выговорил он вслух. – Что же это такое? Что же мне теперь делать? Неужто в самом деле у меня этакий завелся глаз треклятый? Ведь теперь грешно, выходит, и поступать к кому-нибудь, коли этак всякий хозяин от меня заболевать будет.

В конце улицы Ивашке попала на глаза маленькая церковь, выкрашенная ярко-красной краской. Народ толпился на паперти, и многие с двух сторон улицы входили в церковь.

Ивашка почти бессознательно побрел тоже и вошел в маленькую церковь.

«Богу помолиться, – подумал он, – свечку поставить не на что, ну, так хоть помолюсь. Авось Бог милостив – надоумит, как мне с собой быть».

Церковь была крошечная и битком набита народом. В ней шла всенощная накануне престольного праздника.

Ивашка любил Богу молиться, даже любил прислуживать священнику и часто помогал церковному старосте у себя на селе. Их отец диакон, человек сердитый, так вымуштровал Ивашку, что он знал теперь службу церковную лучше иного священника. Ивашка, найдя угол в церкви, сложил свой мешок, а сам пробрался к царским вратам и, тотчас став на колени и осеняясь крестным знамением, начал класть земные поклоны.

Отвесил он поклонов сотню, слегка поясница устала, и он встал на ноги, вздохнул и грустно оглядел весь иконостас, кучу свечей восковых и дивные большие образа, которые так и сияли, так и вспыхивали, будто искру золотистую сыпали ему в глаза.

«Ишь какие церкви на Москве! – невольно подумал он. – Не то что наш храм на селе. Черненький, серенький, по крашеному старому полу будто тропинки протоптаны. А тут и полы-то сияют...»

Вспомнив, что он занят грешными мыслями, Ивашка снова стал креститься и прислушиваться к службе. Через минуту он опять задумался о том, как ему быть, куда идти. Когда кончится всенощная – хоть на улице ночуй.

И не успел Ивашка додумать свою думу о том, куда деваться, как невольно вытаращил глаза, разинул рот, забыл молиться, забыл думать о своем горе, забыл о храме и о службе церковной.

Шагах в двух от него, перед ярко сияющим образом иконостаса, в лучах десятков пылающих свечей, стояла на коленях перед престольным образом Божией Матери только что тихо подошедшая и опустившаяся на колени барыня.

С тех пор, что Ивашка был в Москве, он много видел барынь всякого рода. И таких, что пешком ходят, и таких, что в золотых каретах проезжают, но этакой он еще ни разу, не только в Москве, но и во всю свою жизнь никогда не видал. Ни лица этакого удивительно белого не видел он, ни этаких черных, как уголь, и сияющих, не хуже свечей, глаз. Ивашка с тех пор как себя помнил, любил заглядываться на красавиц, которых было на его родной стороне немало. И здесь, в Москве, несмотря на свое горькое мыканье с квартиры на квартиру да возню с покойниками и похоронами, он все-таки не раз заглядывался на разных красавиц, и богатых, и бедных, и простых, и вельможных. Падок был парень на красоту женскую до страсти! Но ни одна из виденных красавиц не производила на него такого впечатления, как эта барыня на коленях перед Богородицей, ярко сияющей в лучах паникадил.

– Ах ты, Господи! – прошептал Ивашка, – вот так барыня! – И вдруг он прибавил уж громко: – Вот красота-то! Ах ты, Господи!..

Стоявшие около Ивашки обернулись на него. Какая-то старуха заворчала, дураком обозвала, но Ивашка ничего не заметил и не слышал, потому что сама барыня, невольно слышавшая его восклицание, прервала молитву и вскинула на него своими чудными глазами. На одно

мгновение сверкнули эти глаза на Ивашку, и снова отвернулись, и снова смотрели на образ. А Ивашка глубоко, тяжело вздохнул от этого мгновенного взгляда, и вздохнул так, как если бы его кто со всего маха ударил кулаком в грудь.

– Помилуй Бог! – проговорил он чуть слышно, как с перепугу.

И вдруг действительно страх на него напал. Эдакого, что делается теперь у него на сердце, никогда с ним и не бывало. Колдовство, что ли?! В храме-то Божиим?! Нешто в храм колдунья залезет?

Так или иначе, но Ивашка невольно попятился от амвона и успокоился лишь тогда, когда очутился среди густой толпы.

Но все-таки глаза его были словно колдовством прикованы к этой барыне, которая не спеша, и усердно, и важно молилась на коленях, кладя медленные поклоны. И так до конца всенощной простоял Ивашка, не спуская глаз с этой барыни и следя за всеми ее движениями через головы молящихся прихожан. Скоро ли кончилась всенощная – он не помнил и не знал.

Вкруг него стала толпа редеть, церковь пустела, а барыня все стояла на коленях перед образом, будто задумалась или все молилась, и поодаль от нее оставался один Ивашка на своем месте. И вдруг сердце в нем стукнуло и душа в пятки ушла.

Барыня поднялась, обернулась и пошла прямо на него. Шла одна, должно быть, мимо, но, увидя малого, который прервал ее молитву своим восклицанием, она остановилась перед ним.

Глаза ее здесь, среди потемневшей церкви от потушенных свечей, все-таки страшно сияли, будто в них был свой огонь неугасимый.

– Ты это сказал? Ахнул про красоту? – выговорила она тихо.

– Я, – еле-еле отозвался Ивашка.

– Про меня?

– Про вас! – еще тише пролепетал Ивашка.

– Нехорошо! Грешно в храме Божиим мирские помыслы иметь. Будь то на улице, – пожалуй. В храм ходят молиться. А коли уж не то на уме, то лучше не ходить.

Но, зная, у Ивашки был какой-нибудь особый вид, несчастный и горемычный. Барыня хотела было идти, но вдруг опять остановилась, смерила его с головы до пят, вгляделась в его бледное лицо, большие, добрые, серые глаза и спросила: кто он и откуда. Ивашка объяснился.

– Ну, иди за мной! Я тебя к себе в услужение возьму.

Ивашка отмахнулся обеими руками.

– Избави меня Бог и помилуй! Что вы! Вас-то чтобы я на тот свет отправил! Да Бог с вами...

Не сразу объяснился Ивашка, не сразу поняла его красивая барыня, но когда поняла, то едва заметно усмехнулась, положила ему руку на плечо и промолвила:

– Ну, коли дело только в глазе, так иди!

И она так взглянула ему в глаза, что у Ивашки в голове помутилось.

Он вышел из церкви вслед за новой хозяйкой. Она шла медленно и ни разу не обернулась. Казалось, что тяжелая и горькая дума не выходит из ее головы.

У Ивашки тоже была своя дума, и тоже тяжелая, но уж не глаз его смущал. Ивашку смущала барыня, его околдовавшая своим видом, своим взглядом, своим словом... Когда она остановилась у ворот большого каменного дома и красавица барыня приказала ему стучать кольцом, то тут только Ивашка вспомнил, что забыл в церкви свой мешок. Новая хозяйка вошла во двор, отпустила его за мешком в церковь, но наказала непременно быть назад. Ивашка обещался и чувствовал, что ослушаться ее у него и мочи не будет.

Живо сбегал он в церковь, которую уже запирали. Пономарь пустил его, но никакого мешка не оказалось.

– Ротозей, – сказал пономарь, – ведь тут Москва.

– Что Москва? – спросил Ивашка.

– Еще спрашивает! что Москва!.. У нас не зевай. В Москве-матушке не токмо мешок, а зубы изо рта украдут, коли зазеваешься.

XVIII

За Москвой-рекой, в начале Ордынки, издали виден был, среди рядов маленьких деревянных строений и домишек, большой каменный дом, белый, как снег, почти боярские палаты.

Дом этот стоял в глубине большого двора, а за ним виднелись высокие, голые стволы столетних деревьев, которые летом превращались в целую рощу.

Трудно было найти кого-нибудь не только в Замоскворечье, но и во всей Москве, кто не знал бы, чей это дом. И старый фельдмаршал, генерал-губернатор Москвы, и всякий лавочник могли бы с удивлением отвечать на вопрос:

– Чей дом?! Мирона Митрича дом!!

Если спросить, кто такой Мирон Митрич, то всякий важный вельможа, дворянин и чиновник отвечали бы, пожимая плечами, насмешливо улыбаясь, что это – всем известный купец первой гильдии Артамонов, собственник тоже известного Суконного двора, что у Каменного моста. А вместе с тем, – собственник золотых приисков где-то там далеко, в Сибири.

Многие острили при этом, что хорошо бы было собственника послать в его поместье.

Наоборот, если бы обратиться с вопросом: что за человек купец Артамонов? – к кому-либо из московских мещан, простолюдинов, вообще к черному народу, то всякий из них, сладко улыбаясь, отвечал бы:

– Это Мирон Митрич. Это человек вот какой! Хороший человек! Золотой! Благодетель!..

Высокий каменный дом виднелся через высокие каменные ограды, но ворота были всегда и днем и ночью на запоре. Во дворе были всегда спущены три цепные собаки, которые всякого незваного гостя изорвали бы в минуту.

Купец Мирон Артамонов, известный всей Москве и даже в окрестностях Москвы как первый богач, пришел в Москву четырнадцати лет, босой, с мешком, в котором была краюха хлеба, пара лаптей и пара онуч, из коих и состояло все его имущество.

Мирошка, мальчуган смысленный, бойкий, поступил в лавочку, где был на побегушках года два. Потом сделался приказчиком в лавке богатого купца Докучаева. К двадцати годам Мирошку стали звать Мироном, что случалось не со всеми, – другие и до пятидесяти лет оставались Ваньками и Петьками. Мирон, двадцати лет красивый юноша, здоровый, никогда не хворавший, сильный, крепкий, умный и особенно смелый на словах, был уже главным приказчиком, почти управителем всех торговых дел купца Докучаева. Через десять лет Мирон уже был пайщик Докучаева. В тридцать пять лет Мирон сделался Мирон Митрич. Но этого еще мало; он сделался зятем того самого купца, к которому поступил в мальчишки на побегушках.

Теперь у Мирона Артамонова, купца первой гильдии, было состояние вдвое-втрое больше, чем у наследников его тестя. Если он оставался владельцем половины Суконного двора, то ради того, чтобы своим выходом не разорить окончательно своих шуринов.

Но не одно богатство, нажитое честным образом, сделало Артамонова известным. Когда заходила речь о его состоянии, приобретенном без всякого мошенничества, то всякий равно соглашался, что такому человеку, как Мирон Митрич, немудрено было нажиться. Кому же тогда и наживаться? Ума – палата, нравом – кремень, жизнью – монах или пещерный пустыльник, речью – что твой генерал или сановник.

Действительно, Артамонов почти с двадцатилетнего возраста отличался такой энергией, таким толковым и пытливым разумом, такую простоту не только в обыденной жизни, но даже в одежде и в пище, что трудно было найти ему подобного.

На слова Мирон был скуп, но резок; мало скажет, но так скажет, что отрежет. Кажется, с самой царицей, если бы пришлось, Артамонов за словом в карман не полез бы. Многих в Москве вельмож, и сенаторов, и генералов случалось ему так отбрить, что они всю жизнь оставались его врагами.

Женился Артамонов на дочери своего хозяина и покровителя не по любви и даже не по собственной воле.

Богач Докучаев, которому дороже всего в мире было его нажитое с трудом состояние, искал для единственной дочери, наследницы всего, такого мужа, который бы не мог не только разориться, но мог бы прирастить капитал. Лучше выбрать было нельзя. С тех пор, что Артамонов был у него приказчиком, состояние уже втрое увеличилось. Богатый купец, сам сосватав свою дочь, выдал ее замуж за своего приказчика и, не стесняясь, объяснил всем, что тут дело идет не о дочери, а о капитале.

Года два спустя после свадьбы дочери у пожилого Докучаева вдруг родился сын, потом другой и третий. Дочь перестала быть единственной наследницей, но Докучаев не жалел, что приобрел в Артамонове зятя. Состояние его росло не по дням, а по часам.

Сам молодой Артамонов жены не любил, но жил мирно. Жена была женщина недалекая, болезненная, но тихая и крайне богомольная.

Каждый год родились у нее дети, но все хворые, слабосильные и все умирали на седьмом и восьмом году. Всех их было четырнадцать человек, но в живых осталось теперь только четыре. Артамонов относился ко всем детям совершенно равнодушно, да ему и некогда было; занятый своими торговыми оборотами, он едва успевал заехать домой пообедать и отдохнуть, чтобы снова отправиться по делам.

После родов последнего из детей хворающая Артамонова умерла. Последний ребенок, сын, был назван Дмитрием, тем же именем, что называли когда-то первого сына, давно умершего.

Оставшись вдовым, с двумя большими сыновьями, с дочерью, уже молодой девушкой, красавицей, и с новорожденным младенцем, Артамонов вдруг стал заниматься с детьми, более чем прежде. Однако двух старших сыновей, Пимена и Силантия, Артамонов не любил. Оба были парни не только недалекие, но даже глуповатые, ни на что не способные, хотя каждому из них было теперь лет под тридцать. Артамонов звал их в насмешку «миндаля», журил изредка и постоянно посмеивался над ними.

Красавицу дочь, свой живой портрет, он любил с каждым годом все более и более, потому что видел в ней ясно выраженные задатки своего собственного характера.

Действительно, красавица Павла Мироновна была как две капли воды похожа и лицом, и характером на своего отца. Но более всех любил и даже обожал Артамонов своего последнего сына, мальчугана странного, почти диковинного, развитого не по летам, удивлявшего своим ранним рассудком всех родных и знакомых;

Любимец Митя был мальчик худой, бледный, слабосильный; по сходству лица напоминал мать, но нравом был тоже в отца. Во сколько старшие сыновья, Пимен и Силантий, не смели пикнуть в доме и боялись отца, как огня, во столько Павла и даже мальчуган Митя пользовались полной свободой и даже иногда не слушались отца. Митя особенно был независим, и часто случалось одиннадцатилетнему мальчугану говорить отцу:

– Ты, тятя, этого не смыслишь, а я вот знаю... Вот как надо...

И действительно, иногда Артамонов был поражен справедливостью замечания ребенка. Часто бывало, что его тридцатилетние сыновья наглупят в чем-нибудь, Артамонов призвал их на ответ и, сидя под образным углом, судил их и заставлял Митю судить.

После приговора, произнесенного Митей, Артамонов журил больших сыновей и прибавлял:

– Миндали вы, миндали! Поучитесь вот уму-разуму у братишки махонького!

Только Павлу не смел Митя судить. Впрочем, и отец, и братишка равно обожали ее. Когда Павле минуло двадцать лет, она собралась замуж за молодого, красивого приказчика своего отца, Барабина. Артамонову не хотелось иметь Барабина зятем. Он считал своего приказчика и наперсника хотя и очень умным и толковым малым, но злым и жестоким.

Когда поднялся в доме Артамонова вопрос о сватовстве Барабина, то год целый происходила тихая, едва заметная борьба между отцом и дочерью. Мирон Артамонов и Павла друг другу уступить не могли: нашла коса на камень. Это боролись два Мирона Артамоновых между собой.

Несмотря на то что Барабин сватался не из-за состояния дочери своего хозяина, а был действительно в нее безумно влюблен, Артамонов боялся за будущность своей единственной дочери-любимицы. На все доводы дочери он противопоставлял только то соображение, что Барабин человек умный, дельный, но бессердечный, злой человек. Молодая девушка видела в женихе только очень сильно влюбленного в себя молодца, – из ряду вон красивого.

Через год борьбы Артамонов уступил. Павла вышла замуж.

Артамонов, оставшись с двумя глупыми сыновьями и с одиннадцатилетним Митей, который все умнел не по дням, а по часам, стал меньше заниматься делами, и жизнь его делилась между горем и радостью, – горем от несчастной семейной жизни любимой дочери и радостью от любимца мальчугана.

Теперь со свадьбы Павлы прошло уже три года. Жила она с мужем из рук вон плохо, была вполне несчастлива, и вся ее жизнь, все заботы и помыслы ушли на полуторагодового ребенка.

Отношения между Артамоновым и зятем были холодные, суровые. Артамонов не любил и не уважал своего зятя. Барабин тоже недолюбливал строго судившего его тестя и был уверен, что все его несчастье семейное происходит от тайных советов Артамонова.

Тит Барабин был странный человек. Умный Артамонов ошибался, считая его злым. Это мнение основывалось на том, что Барабин слишком строго часто обращался с сотнями фабричных на Суконном дворе своего тестя.

Между тем эта строгость и это жестокосердие происходили оттого, что Барабин не прощал слабостей людских. Леность, праздность, пьянство и всевозможные мелкие пороки людские находили в нем всегда лютого врага, тем более что всем этим слабостям он сам не был подвержен.

Несчастье семейной жизни с женщиной, которую Барабин любил до страсти, зиждилось на том, что Барабин был до безумия ревнив и страшно вспыльчив. С первого же года женитьбы все ссоры мужа с женой происходили из ревности, и в минуту пыла он был способен на все.

Однажды он бросился на Павлу с ножом и едва не ударил ее в горло... Затем целых два месяца провел буквально у ее ног, вымаливая себе прощение.

Павла, сначала обожавшая мужа, понемногу измучившись, начинала охладевать, понимала, что с таким мужем трудно ужиться. Сначала она пробовала уничтожить всякий повод к ревности, запиралась дома, никого не видала, никуда не выходила в гости, жила совершенно затворнической жизнью. Но это не помогло. Когда не к кому было ревновать, Барабин ревновал к возможности неверности жены в будущем. За последнее время Барабин ревновал жену, бывавшую только в церкви и у отца, – к священнику, к дьякону, даже к нищим на паперти и на особый лад ревновал к ее отцу: был уверен, что она ходит туда жаловаться, плакаться. Он был уверен, что жена его, которую он обожает, его не любит, даже ненавидит, что она с ним несчастлива и жалеет о своем девичестве, и это озлобляло его. Он упрямо хотел быть счастливым и хотел, чтобы она была тоже счастлива.

Каждое утро и каждый вечер он клялся и обещался себе самому ни к кому не ревновать жену и исполнять ее малейшие прихоти, ласкать и обожать ее от зари до зари. И всякий день бранился с ней, мучил ее и мучился сам.

Так или иначе, но умная, пылкая и богато одаренная Павла была несчастлива, тайно недовольна своим существованием. Она не жаловалась, потому что сама так устроила свою жизнь, и старалась в любви к своему ребенку найти утешение от всех домашних бурь.

Но так как при двух мамушках, приставленных к ребенку, дела и забот ей было мало, свободного, праздного времени много, то блуждающая горячая мысль ее долго бродила и наконец

нашла себе пищу во всем том, что мог ей дать храм Божий со всеми его бесконечными обрядами, милостыней, нищими, монахами, постами, грехом, адом... Но и здесь Павла не была утешена вполне, не нашла полного удовлетворения тому, чего страстно искала ее блуждающая в полутьме мысль.

За последнее время она часто приводила из церкви домой разных нищих и блаженных, чтобы накормить, оделить и снарядить в дорогу куда-нибудь в Киев, к Макарию или даже и на Афон.

Однажды привела она из церкви какого-то чудного нищего. Он был чрезвычайно дурен собой, лет за пятьдесят, кривой, хромоногий, но в одном его глазе светилось, горело столько удивительного огня, столько ума и силы, что Павла была не на шутку поражена им.

Муж, взглянув на такого красавца, позволил ей оставить нищего у себя в доме. Кривой и хромой взломщик-бродяга прожил в доме Барабиных целый месяц и ушел в какой-то монастырь за границами русского государства.

Но пребывание его в доме не прошло бесследно. Многое рассказал он Павле и многое разъяснил. И он первый поколебал в молодой женщине веру в достоинство ее мужа.

Дом, в котором жили Барабины, был недалеко от дома Артамонова и был построен на земле, подаренной Павле отцом при ее замужестве. Он выходил в переулок, известный всей Москве по своему имени – Чертов переулок.

Дом этот был невелик и на вид очень прост: после отцовых палат новое помещение даже показалось Павле сначала очень неприглядным и скучным, но затем она привыкла. Когда, год спустя, отец стал уговаривать дочь и зятя переехать жить к нему, то Павла еще более мужа воспротивилась этому. Барабин не хотел иметь в тесте свидетеля своих постоянных семейных бурь, а Павла полюбила новую маленькую горницу, в которую она уходила грустить наедине и по целым дням о своей странной судьбе.

Павла думала, что она все еще любит этого мужа так же, как любила еще невестой и затем в первый год замужества; но теперь ей все чаще и чаще приходилось уверять себя в этом...

Будто кто-то нашептывал ей постоянно, что это неправда, что ее чувства не есть любовь!..

Вот в этот дом и в эту семейную обстановку и привела Павла из церкви добродушного сероглазого парня, которого ей стало жаль. Ивашка и не предполагал, какой подвиг совершила красавица барыня и какую ответственность брала на себя пред мужем, спасая его с улицы от голода и холода.

XIX

У генерал-губернаторского дома был большой съезд: стояли целые ряды огромных карет, запряженных цугом разношерстных лошадей.

Впереди других, несколько поодаль, стояла большая карета с особого черною и мрачною упряжкой, которую знала вся Москва, так же как и фигуру ее владельца, – преосвященного Амвросия.

У фельдмаршала был приемный день.

Старик герой, увенчанный лаврами, именуемый победителем Великого Фридриха¹⁶, был уже теперь дряхлый, выживший из ума старик, хотя ему было только семьдесят лет. Фельдмаршал дошел до последнего предела слабости: простудившись на днях и нажив себе насморк, он однажды так сильно чихнул, что лишился сознания и пролежал без памяти несколько часов. Его сочли уже было мертвым двое докторов.

Это передавалось теперь всеми в Москве. Кто смеялся и говорил: «Вот так чихнул!» А кто рассуждал, что при такой дряхлости трудно чихать, а еще труднее управлять Москвой и целым краем.

В большой белой, с мраморными стенами, приемной фельдмаршала тихо, почтительно шумела или, лучше сказать, ворковала толпа разных вельмож и сановников. Они явились представиться генерал-губернатору, напомнить о себе или доложить по делу и просить разрешений и указаний.

В приемной, между другими, был обер-полицеймейстер Бахметьев, обер-комендант царевич Грузинский и несколько известных в Москве офицеров: граф Брюс, князь Макулов, Кречетников, Загряжский, Мамонов и другие.

Преосвященный был в кабинете фельдмаршала и, уже давно войдя туда, вероятно, совещался с ним. Вся эта толпа с нетерпением ожидала выхода архиерея, чтобы скорее отделаться и уехать домой.

В углу приемной, около окна, сидели и шепотом разговаривали о чем-то, по-видимому крайне важном, два чиновника в мундирах.

Это были два самые известные доктора по всей Москве: начальник военного госпиталя Шафонский¹⁷ и любимец всех сановников и вельмож, в особенности всех московских барынь, немец Густав Риндер¹⁸.

Шафонский, полный и высокий мужчина, немолодой, но очень еще моложавый на вид, с умным лицом, с бойким взглядом, что-то горячо, хотя шепотом, доказывал своему собеседнику, сопровождая речь сильными телодвижениями, обличавшими в нем *южную* натуру.

Собеседник, худой, изжелта-красный, с странными зелеными глазами за большими золотыми очками, едва шевелил губами, не сделал все время ни одного жеста и говорил особенно странно. Казалось издали, что он изрекает только самые приятные для своего собеседника вещи, даже одни любезности. В сущности же, все, что говорил он в эту минуту, были одна злоба и ехидство.

Невдалеке от них сидел тот самый генерал и сенатор, в своем ярком мундире, к которому бегала Климовна продавать Ивашкина пегого коня. Это именно был Павел Дмитриевич

¹⁶ *Великий Фридрих*. – Имеется в виду Фридрих II Гогенцоллерн (1712–1786), прусский король с 1740 г.; в результате его завоевательной политики территория Пруссии почти удвоилась.

¹⁷ *Шафонский* Афанасий Филимонович (1740–1811) – врач, этнограф, действительный статский советник (1798), доктор права, философии и медицины, образование получил в Галле, Лейдене и Страсбурге. Во время эпидемии чумы был старшим доктором в Московском генеральном госпитале, первым начал борьбу с эпидемией.

¹⁸ *Риндер* Густав (Андрей Андреевич; ум. 1770) – немецкий врач, доктор медицины (1733 г.), живший и работавший с 1738 г. в России; не верил в реальность чумной эпидемии в Москве, в результате чего стал и сам жертвой эпидемии.

Еропкин, мало и редко появлявшийся в обществе и живший замкнутой жизнью в собственном маленьком домике, в отдаленной части города.

Некрасивое лицо его, с крайне резкими чертами, поневоле привлекало внимание всякого своей неправильностью; зато в глазах будто светились вся ясность и кротость души этого человека. В лице его была в особенности одна странность, бросавшаяся сразу в глаза, заключавшаяся в том, что чуть не всю половину лица составлял большой подбородок, с большим ртом и толстыми добрыми губами.

Скромного и ласкового, готового на всякую услугу сенатора Павла Дмитриевича знали, конечно, все; но все знали тоже, что он человек не особенно пряткий и далеко не уйдет по службе. Лишь недавно достиг он до звания сенатора, – Бог весть почему, – может быть, благодаря своему добродушию и общему уважению. Павел Дмитриевич был особенно известен тем, что прощал и извинял все, всем и всегда, как истинный христианин, но это происходило не из религиозного источника, а из какого-то иного, очень замысловатого. Павел Дмитриевич, что бы ни случилось, кто бы чего ни натворил, всегда, находил, как объяснить проступок и как извинить.

Однажды какой-то пьяный поп, допившийся до горячки, осквернил святотатственно храм и, не кончив литургии, бросился к себе домой, зарезал свою жену и двух детей, а затем бросился на улицу и кидался на прохожих с ножом, покуда его не поймали. Многие в Москве при этой удивительной повести говорили:

– А ведь вот, поди, Павел Дмитрич и этого оправдает. Что-нибудь найдет и ему в извинение.

И Павел Дмитрич нашел извинение, узнав, что поп запил с горя после его перевода Амвросием из богатого прихода в бедный. Однако через меру снисходительный Павел Дмитрич был особенно строг к самому себе. За ним ничего не водилось мало-мальски дурного; вся его жизнь была как на ладони, чиста и безупречна, но зато и проста. Многие умные головы московских вельмож говорили про Еропкина:

– Хороший человек, а уж куда скучно с ним... Уж этот не развеселит. Проведешь с ним вечер вдвоем – приедешь домой как с похорон.

И действительно, Павел Дмитриевич мало говорил, больше молчал, слушал, раздумывал и вздыхал в ответ своим мыслям о слабостях рода человеческого или вообще о всякой суете мира сего.

– Э-эх, – добродушно говорил он, вздыхая. – Един Бог без греха. Все мы люди, человеки... Прабабушка-то наша, Евушка, яблочка отведала, ну, – вот мы и того...

– Да вы-то бы разве это сделали? – допрашивался какой-нибудь знакомый по какому-либо случаю, когда Еропкин брал нового виновного под свою защиту.

– Лукавый силен, никто за себя ручаться не может. Кажись, и не сделал бы, а зарока давать нельзя.

– Да ведь украл он или нет?

– Украл-то украл.

– Стало быть, и вы бы украли? И вы вором бы могли быть?..

– Помилуй Бог! Не случилось еще... А вы спросите: почему украл... Вот что... Судить легко. Не судите, да не судимы будете...

Будь Еропкин менее известен своей неподкупной честностью, прямодушием характера и спартанской стойкостью в соблазнительных случаях, то давно бы по его речам стали бы его самого подозревать и осуждать за безнравственность суждений.

Теперь, сидя здесь в зале у фельдмаршала, стоик-сенатор скучал донельзя. Он не любил ездить к Салтыкову, потому что ему и незачем было. Его визит ограничивался тем только, что он поклонится, фельдмаршал пошамкает что-нибудь, пожует, понюхает табаку – и конец

аудиенции! Бывал Еропкин у фельдмаршала, конечно, только в большие праздники и в царские дни.

Теперь, сидя один в стороне от всех, Павел Дмитриевич прислушивался к разговору двух докторов. Но, убежденный, что врачи, которых он положительно не любил и не уважал, потому что они все «мошенники и надуватели рода человеческого», он слушал их невнимательно, да и говорили они тихо.

Павел Дмитриевич давно решил, о чем у них идет такая живая беседа.

«Небось, – думал он, – пичкали вы оба какого ни на есть больного, да и спровадили на тот свет своими мазями да бурдицами, а вот теперь и сцепились... Каждый друг на дружку сваливает, кто уморил».

И рассуждение это Еропкин закончил, однако, тотчас таким умозаключением:

«Э-эх! Один Бог! Все Бог!.. Будь-ка я доктор, тоже стал бы народ морить, да не каяться: на другого бы знахаря-товарища сваливал. А нельзя, так на Господа Бога свалил бы, на судьбу...»

И Павел Дмитриевич поднял указательный палец и стал как будто грозить в воздухе, будто разговаривая с каким-то воображаемым доктором, который стоял перед ним с повинной.

Но вдруг сенатор спохватился, вспомнил, что сидит в приемной фельдмаршала и что это движение могут заметить и посмеяться над ним. Подобного рода рассуждения с самим собой случались с ним постоянно. Это была привычка, которую знали все его знакомые.

– Ну, что? – спрашивали иногда у него в шутку друзья. – Перетолковали вы с Павлом Дмитриевичем с Еропкиным? Кто кого убедил?

– Да... Конечно... – отшучивался Еропкин. – Зато если бы нас, – меня вот с Павлом Дмитриевичем, – сослали на остров какой необитаемый или бы в тюрьму засадили, то мы бы не скучали. Мы ведь спорим до слез, а не ссоримся никогда.

В ту минуту, когда Еропкин поймал себя на убедительном жесте и огляделся, – все находившиеся в зале поднялись с мест. В дверях кабинета показался выходящий преосвященный. Самые важные сановники подошли к нему под благословение.

Амвросий каждому говорил что-нибудь, спрашивал. В числе последних подошел Еропкин. Амвросий, также любезно улыбаясь, благословил сенатора и выговорил с оттенком шутки:

– Давно не имел чести вас видеть... Все изволите анахоретом проживать; сами никуда не жалуете и к себе не пускаете в гости...

Это был намек на то, что Еропкин давно не был у преосвященного с визитом и недавно не принял приезжавшего к нему Амвросия.

Скромный, прямой философ и стоик в обыденной жизни, сенатор Еропкин не мог питать особенной дружбы к хитрому, честолюбивому и самовластному до жестокости владыке. Еропкин все извинял, а Амвросий все карал без пощады.

Целая кучка гостей проводила преосвященного до прихожей и вернулась в залу. Еропкин задумчиво проводил преосвященного только глазами и мыслью.

– Это он, ваше превосходительство, в ваш огород камушком пустил, – раздался голос доктора Риндера около него.

– Да, – добродушно отозвался Еропкин. – Поди ж ты какой!.. Кабы он меня в церковь заставлял чаще ездить, – понятное дело... А то, вишь, заставляет силком в гости ездить да силком к себе принимать. Хоть грешное дело, а не лежит у меня к нему сердце.

– Да. Если правда, что сказывают, – заговорил

Риндер и, наклонясь, шепнул сенатору что-то на уха, прибавив: – Я чай, слышали?

Лицо Еропкина мгновенно омрачилось, глаза блеснули ярче.

– Это клевета, государь мой, – более чем строго выговорил он. – Нет и не народилось еще той бабы деревенской, которая врала бы пуще Москвы белокаменной.

– Да оно так-то так, – отозвался доктор, смущаясь.

– Если завтра матушка государыня Москва, – продолжал бурчать Еропкин, – скажет, что я младенцев у себя втихомолку режу да кровь их пью, так, право, я не удивлюсь.

Риндер начал подобострастно хихикать. Вечно всем всегда прислуживающий немец подошел было теперь к сенатору перекинуться словечком именно потому, что через несколько дней ему приходилось иметь до Еропкина просьбу в сенате.

Риндер собирался уже отойти, когда добродушный Павел Дмитриевич выговорил, глядя в маленькие, зелененькие и мигающие глазки доктора:

– За примером, государь мой, ходить недалеко. Ведь вот про вас рассказывает же Москва, что вы пуще всего любите пользоваться одиноких вдовушек и преклонных старушек. Что вам все попадаютса оне недолговечные, все помирают да вам по завещанию свои вотчины оставляют.

Риндер в одно мгновение сделался пунцовый, хотел что-то выговорить и поперхнулся.

Еропкин продолжал спокойно смотреть в изменившееся лицо немца.

«Ишь как покраснел! – думал Павел Дмитриевич. – Подумаешь, и впрямь оно правда».

* * *

В зале поднялся легкий шум. Сидевшие повскакали с мест. В дверях появилась маленькая, худая фигурка в лиловом атласном шлафроке¹⁹ и в такой же ермолке. На ногах пестрели вышитые туфли; на каждой был вышит розан и колчан со стрелами, перевитый узлом ленточки. Туфли эти были в большой моде и назывались *a la dauphine*²⁰ или *a la Marie-Antuanette*²¹. По крайней мере, сотня барынь в Москве носила их. В числе этой дамской сотни был и сам генерал-губернатор города Москвы – лаврами увенчанный победитель Германии, фельдмаршал и кавалер всех российских орденов.

Те дни, в которые герой Салтыков побеждал Фридриха во время оно, были давно и быльем поросли. Дряхлый старик был в Москве на покое. Он был когда-то, еще недавно, все-российским народным героем, имя его облетало все избы святой Руси. Теперь же старая развалина пережила свою славу. «Граф Салтыков» теперь звучал совершенно иначе, нежели «граф Салтыков» лет за двадцать перед тем. Теперь Петербург, а за ним Москва, прозвали прежнего героя именем его вотчины, где он проживал каждое лето и которое называлось Марфино. Фельдмаршала звали – Марфой и Марфушкой или вместо «граф Петр Семенович» называли – за глаза, конечно, – «графиня Марфа Семеновна».

Когда все поднялось и приблизилось, Салтыков сделал несколько шагов. За ним в близком расстоянии следовали его два адъютанта, не спускавшие с него глаз, так как графу случалось часто поскользнуться на паркете и адъютанты кидались спасать его от смерти. Действительно, в его положении и в его годы падение было бы, конечно, последней минутой его жизни.

Самые блестящие мундиры, в лентах и орденах, находившиеся в зале, ближе всех придвинулись и стеснились вокруг шелкового шлафрока генерал-губернатора. Вопрос о здоровье его сиятельства обошел все уста.

Салтыков широко раскрыл беззубый рот, замигал глазами и прошептал, как всегда, отрывисто и обрывая последний слог:

– Слава Богу! Отлично!.. Слава Богу! Совсем молодцом! Хочу завтра новую выдумку докторскую испробовать! Водой себя! Холодной! Водой! Поливать!..

И старик окинул глазами всю обступившую его кучку сановников, как бы стараясь убедиться, понимают ли они, в чем дело.

¹⁹ *Шлафрок* — старинный домашний халат.

²⁰ *...a la Dauphine* — в стиле дофина. Дофин — наследник престола во Франции.

²¹ *...a la Marie-Antoinette* — в стиле Марии-Антуанетты, французской королевы, казненной во время Великой французской революции в 1793 г.

Два генерала, стоявшие ближе всех и втайне убежденные, что обливание холодной водой непременно уморит фельдмаршала, сразу все-таки сочли нужным согласиться с ним.

– Прекрасное дело, ваше сиятельство, – сказал один, – новое изобретение – первый сорт.

– Сказывают, король французский этим занимается, – выговорил другой.

– Да, да, – проговорил Салтыков, не слыхавший ответов. – Отлично!.. Отлично!.. Совсем молодцом!..

И он, обернувшись к адъютантам, почему-то смерил их с головы до пят, потом снова обратился к гостям и вдруг мотнул головой, как будто неожиданно вспомнив новость, которую хотел сообщить обществу:

– Хочу холодной водой! Обливаться!.. Отличное дело, говорят.

Только некоторые из обступивших фельдмаршала слегка вытаращили глаза; большая часть сановников привыкла к тому, что фельдмаршал, вдруг забыв совсем за секунду сказанное им, повторял снова то же самое.

– Да! – раздался в задних рядах голос Еропкина, ответившего на чей-то вопрос, сделанный шепотом: – Память короткая... Что же? Одна нога в гробу!..

Стоявший в передней шеренге обер-комендант Грузинский стал быстро докладывать фельдмаршалу, что все обстоит на Москве благополучно.

После него несколько человек по очереди приближались к графу, тоже докладывали всякий про свое. Салтыков смотрел каждому говорящему пристально в лицо, мигал глазами, шамкал губами, и лицо его принимало старческое, добродушно-глупое выражение. Это именно то выражение, которое бывает у людей в две различные эпохи жизни: в первый раз в люльке или на руках кормилицы и затем снова, во второй раз, спустя лет 70 или 80, – когда одна нога в гробу, а другая запоздала последовать примеру первой. Салтыков так смотрел на каждого говорившего, что бы он ни говорил, как будто тот рассказывал что-нибудь очень удивительное и очень смешное вместе. При этом он улыбался, как улыбается младенец.

Когда несколько сановников отбарабанили быстро свои словесные доклады, все равно убежденные, что фельдмаршалу что ни скажи – все равно, тогда к Салтыкову приблизился доктор Шафонский, а за ним с насмешкой на лице встал вплотную Риндер.

– Ваше сиятельство, долгом счел приехать подтвердить вам снова мои опасения...

Шафонский запнулся на минуту, как бы соображаясь с мыслями и собираясь изложить дело толково, чтобы сам Салтыков как-нибудь понял.

– Прошлую среду я имел честь вам докладывать о болезни дурного качества, открывшейся в моем госпитале. Вы изволите помнить?

Шафонский остановился и вопросительно глядел на фельдмаршала; но Салтыков с тем же бессознательно-добродушным выражением также вопросительно глядел на доктора.

– Изволите помнить? У меня солдаты мрут. Мрут! Мрут солдаты! – вразумительно и громче выговорил Шафонский.

– А-а-а! – протянул фельдмаршал. – Солдаты?.. Солдаты... Я сам солдат! Я люблю солдат!.. Я сам солдат!.. – И, подняв свою старчески-коричневую и костлявую руку, фельдмаршал слабо стукнул себя в грудь костлявым кулачком.

– Да-с, солдаты мрут. Ничего не поделаешь. Надо бы, ваше сиятельство...

– Мрут! – прервал его Салтыков. – Зачем? А вы лечите... Лечите... Вы доктор.

– Я снова буду просить ваше сиятельство... – начал Шафонский.

– Вы доктор? – повторил Салтыков.

– Чтобы вы соизволили... – продолжал Шафонский.

– Вы доктор?! – громче и еще добродушнее, еще чаще мигая старыми глазами, проговорил Салтыков.

– Точно так, – пришлось ответить доктору.

– Ну, вот-вот...

Салтыков поднял руку, взял Шафонского за пуговицу мундира, притянул его к себе и, положив другую руку ему на плечо, потянулся к нему головой. Шафонский невольно сообразил, что фельдмаршал хочет сказать ему что-то на ухо. Будучи гораздо выше его ростом, он чуть-чуть согнул колени, присел вежливо, насколько мог, и подставил ухо под старые, шамкающие губы фельдмаршала.

– Лечить надо! – шепотом проговорил Салтыков и одобрительно шлепнул доктора по плечу. – Лечить надо!.. Как солдат болеть – вы его лечить! Он хворает, а вы лечите! Он пуще хворает – а вы пуще лечите! Вот!

И фельдмаршал, шлепнув снова Шафонского по плечу, рассмеялся весело и хрипливо. Вся его фигура, казалось, говорила публике:

«Что, мол? Какову штуку сказал доктору на ухо?! Раскуси, поди!..»

– Однако, ваше сиятельство, – настаивал обученный доктор, – позвольте мне госпиталь оцепить, никого не впускать и никого не выпускать. Я уже прошлый раз докладывал... Вы изволили дать согласие, но я встретил полное противодействие во всех подлежащих властях.

Слова: «не впускать» и «не выпускать» почему-то вспомнились старику. У него оставалась память только одного рода – память на созвучие слов, слышанных за несколько дней. Тому назад неделю фельдмаршал слышал, проезжая по улицам, чье-то восклицание за каким-то забором:

– В три погибели согну!

И эти слова: «в три погибели» преследовали старика и днем и ночью. Он даже повторял их вслух, поднимая указательный палец, а иногда три. И повторял, глядя на три пальца:

– В три погибели. Раз... два... три...

Вспомнив слова Шафонского, сказанные в предыдущий раз, старик вспомнил отчасти, в чем было дело.

– Военный госпиталь?.. Так, так... Забор сделайте. Прикажите лесу возить.

Шафонский хотел снова заговорить. Риндер вежливо оттеснил соперника и выговорил сладкозвучно:

– Явился просить, ваше сиятельство, от имени графа Петра Ивановича Панина, сегодня к столу. Будет у него фокусник после стола, прямо с острова Сицилии.

– Да, да, знаю, – выговорил Салтыков и, пошарив в карманах шлафрока, обратился к адъютанту:

– Разбойник! Табакерка где? В карман не положил. А? Душегуб?.. – добродушно прибавил он.

– Вот она-с, – протянул адъютант табакерку, всю покрытую бриллиантами, и подал ее на ладони, почтительно нагибаясь перед фельдмаршалом.

Салтыков встрепенулся.

– Опять... Опять! Да не делай ты этого! Разбойник!.. Съедет с ладошки! Прямо об пол!.. Подавай в кулаке! Невежливо, – да верно! А с ладошки об пол! Эка разбойник!

И фельдмаршал, немножко рассердившийся из-за табакерки, повернулся ко всем спиной и, забыв сделать прощальный поклон, пошел к двери кабинета.

Адъютанты последовали за ним вплотную, готовые ежеминутно поддержать старика, если он поскользнется.

Сановники, переговариваясь, пересмеиваясь шепотом, понемногу очистили залу, и через минуту на площади началось движение экипажей, начался разъезд.

Из всей публики – один доктор Риндер вошел в кабинет фельдмаршала вслед за адъютантами. Шафонский проводил его глазами и злобно выговорил ближайшему чиновнику:

– Задавил бы этого немца... Что делают! Тот по старости, а этот по упрямству.

Чиновник быстро отошел от рассердившегося доктора. Около него очутился один Еропкин, задумчиво стоявший, немного наклонясь и как бы раздумывая о чем-то очень важном.

– Ваше превосходительство, что мне делать? Посоветуйте! – заговорил Шафонский. – В госпитале вот уже две недели мрет народ. Болезнь самая недоброкачественная... Служители даже при больных заболевают. Хотя и страшно сказать, а я полагаю, что эта хворость – моровая... Вот что на войне была, да и теперь в Молдавии народ укладывает.

– Что вы, голубчик! – удивленно проговорил Еропкин. – У вас, в госпитале? Моровая? Как бишь ее звать? Язва? Сиречь – выходит – чума?

– Да что же прикажете? – извинялся Шафонский, растопыривая руками. – Ведь не я же ее выдумал... Один за другим умирают люди. А при постоянном сообщении между Введенскими горами и городом может перейти в самый город. Я во второй раз докладываю фельдмаршалу... В канцелярии его два раза часа по три просил, кланялся, усовещевал Господом Богом, чтобы позволили госпиталь мне оцепить, хоть на время.

– Ну, что же?

– Ну, и ничего не добьюсь. Риндер, сами знаете... У него не один фельдмаршал – вся Москва в руках. Он говорит, что все враки, что никакого морового поветрия у меня в госпитале нету.

– Да почему он знает? Был он у вас? – спросил Еропкин.

– Вестимо, не был. Зачем он ко мне поедет?

– Так из чего же он?

– Да это у нас старая история... Древнее римской истории. Изволите видеть... Я в разговоре сказал как-то Марье Абрамовне Ромодановой, что ее доктор Кейнман ничего в медицине не смыслит... Так – шут парадный! А он – любимец Риндера. Та и скажи Риндеру, а этот на меня теперь злобствует. А тут, как на грех, моровая-то и появилась в госпитале. Именно как на грех! – с отчаянием выговорил Шафонский. – Случись это месяц назад, мне бы сейчас оцепление разрешили бы. А вот дернул меня черт этого Кейнмана похулить!.. Вот теперь с госпиталью-то и возись. Да того и гляди – Москву зачумит...

– Да-с, – усмехнулся Еропкин, – это верно, из малых причин – великие события совершаются. Ну.

XXI

Капитон Иваныч сильно хворал и был серьезно плох в продолжении трех дней.

Уля не отходила от постели больного, почти не спускала с него глаз и начинала поневоле думать, что Капитон Иваныч не переживет и более не встанет. Болезни особенной у него не было, но была всеобщая сильная слабость. Уля внутренне упрекала Авдотью Ивановну как в своей продаже, так равно и в том, что она этой продажей, может быть, убила старика.

Авдотья Ивановна, конечно, не сидела около мужа. Она только изредка заглядывала в комнату больного, подходила к кровати его, глядела ему в лицо и возвращалась к себе. Она была, однако, несколько озабочена болезнью мужа и начинала отчасти, насколько могла, раскаиваться в своем поступке.

На четвертый день Капитон Иваныч проснулся несколько бодрее, поговорил немного с Улей, даже пошутил.

Авдотья Ивановна заглянула также к нему и подошла к кровати. Капитон Иваныч, услышав звук от скрипнувшего пола, открыл глаза, увидел жену, тотчас через силу приподнял руку, отмахнулся и отвернулся от нее к стене лицом. Авдотья Ивановна тотчас обозлилась и, набравшись вдоволь над кроватью больного, ушла от него вне себя и стала срывать свой гнев на всех, попадавшихся ей навстречу.

– Ну, ты! – крикнула она попавшейся ей Уле. – Нечего сиделку-то справлять!.. Ступай к своему барину, а то он тебя через полицию вытребует.

Уля вспыхнула и проговорила твердо, – что с ней случилось, быть может, в первый раз в жизни:

– Уговор был, Авдотья Ивановна, что я пойду туда, когда Капитон Иваныч выздоровеет. И раньше этого я не пойду. Вы мне приказывать больше не можете, – произнесла Уля, сама себе удивляясь. – Если вы меня продали, то вы больше мне не барыня...

Авдотья Ивановна от изумления и гнева чуть не упала с ног на пол. В первую секунду она уперлась глазами в кроткое лицо девушки и не знала, что делать.

– Да я тебя... – закричала она чуть не на весь двор, не зная, что прибавить.

И, совершенно рассвирепев, Авдотья Ивановна крикнула двух девушек и велела гнать Улю вон из дома.

Уле пришлось выйти за ворота и обождать там, покуда пройдет гнев барыни. Через час она пошла снова в дом и стала просить прощенья у Авдотьи Ивановны, умоляя оставить ее еще дня на два.

Авдотья Ивановна между тем надумалась, что если Уля уйдет, то действительно некому будет ходить за больным. Не поворачивая головы к стоявшей около нее девушке и не глядя на нее, она выговорила злобно:

– Ладно... А как поправится твой приятель, так чтобы твоего духа не пахло!..

Через два дня после этого Капитон Иваныч встал с постели, и супруга, видя его здоровым, не замедлила объяснить ему, что все кончено: купчая совершена и деньги получены. Авдотья Ивановна боялась, что это опять с ног свалит мужа, но не утерпела душу отвести.

На Капитона Иваныча подействовало это известие совершенно обратно тому, чего ожидала супруга. Он не стал кричать и браниться, а, постояв молча перед женой, тихо вышел из горницы.

«Ну, и слава Богу! – подумала Воробушкина. – Понимает, что нечего уж тут кричать».

Между тем Капитон Иваныч заперся у себя и спешно, аккуратно брился. За последнее время он на смех жене отпустил себе усы и бороду, чего никакой дворянин не решился бы сделать. Капитон Иваныч в минуту озлобления заявил супруге:

– Бороду отпущу и все-таки дворянин буду!

И – слово за слово – он поклялся исполнить свою угрозу... и исполнил. И стыдно ему было, а три месяца проходил он в бороде.

Теперь, через час времени, Капитон Иваныч появился перед женой чисто выбритый, в своем новом мундире, который надевал раза три в год, и в новых сапогах.

– Обрился? Довольно мужиком-то ходить! – заметила Воробушкина, насмешливым взглядом смеривая мужа, но отчасти боясь причины его туалета.

– Да-с, обрился, – отвечал Капитон Иваныч. – На то есть важные причины. Хорошо было по переулку гулять в бороде. А теперь не до скоморошества.

– За разум взялся...

– Пожалуйте, сударыня, мою новую шляпу! – перебил он жену важно и таинственно-строго.

Авдотья Ивановна рот разинула.

– Что же-с? Ушки вам заложило, что ли?.. Пожалуйте шляпу!! – говорю я.

– Зачем это?.. Что ты?! Ума, что ли, решился? На свадьбу, что ли, собрался? Раздевайся поди!.. Нечего, сам говоришь, скоморошествовать... А сам разрядился без толку...

– Тут уж не скоморошество. Тут преступление законов. Пожалуйте новую шляпу!

– Зачем! Зачем! Чучело!

– А затем, чтобы вас в острог и Сибирь спровадить.

Авдотья Ивановна окончательно потерялась от изумления. Она была убеждена, что муж за время болезни сошел с ума.

– Нечего на меня глаза-то таращить!.. Я знаю, что говорю... Пожалуйте шляпу.

Не зная, что сказать, даже почти не понимая, что ей надо сделать, Авдотья Ивановна закричала на весь дом:

– Не дам!.. Пошел, раздевайся!..

– Не дадите – в старой пойду, – спокойно выговорил Капитон Иваныч.

Он дошел до вешалки, снял старую шляпу, надел ее и подошел к супруге таким шагом и с таким видом, как будто бы собирался пригласить ее на прогулку или на танец.

– Да будет вам, сударыня, повивальная барыня, известно и ведомо, – многозначительно заговорил Воробушкин, – что я думаю положить предел вашим чудодействиям и преступлениям всяких законов, божьих и человеческих.

– Ах ты, дура, дура!.. – отозвалась, качая головой, Авдотья Ивановна, и злобно глядя на мерно рапортующего супруга.

– Нет-с, не дура... Отправляюсь я тотчас к господину высокосиятельному фельдмаршалу, Петру Семеновичу Салтыкову, с жалобой на то, что вы, чухонская душа, изволите торговать дворянскими душами.

– Поди... поди!.. Он тебя в холодную будку и велит запереть.

– Ну, вот-с мы это и увидим – кого запрут! – решительно произнес Капитон Иваныч и вышел из дому.

Авдотья Ивановна, слегка смущенная, проследила за ним и видела, как он медленной и важной походкой вышел из ворот.

Выйдя на улицу, он остановился, снял свою шляпу, оглядел ее и, видимо, колебался. Не хотелось, видно, старику идти в старой шляпе. Но затем он вдруг решительным жестом нахлобучил шляпу на голову и двинулся по переулку.

Авдотья Ивановна осталась среди горницы в нерешительности. Таких отчаянных действий еще Капитон Иваныч никогда против нее не предпринимал. Авдотья Ивановна имела об законах самое смутное понятие и знала, что муж в них все-таки сведущ.

«Черт знает что из этого может еще выйти! – думала Воробушкина. – Ну, как он меня под суд упечет?»

И ей пришла мысль догнать мужа, уговорить, наобещать с три короба. Она знала, что если Капитон Иваныч отложит раз какое-нибудь свое намерение, то в другой раз уже не соберется.

В эту минуту вошла в горницу Уля, повязанная платком и в салопе. В руках у нее был небольшой узелок.

– Прощайте, Авдотья Ивановна! – выговорила она. – Иду к новому барину. – И девушка улыбнулась. – Только помните, Авдотья Ивановна... – И глаза Ули странно заблистали: – Коли будет что со мной дурное да придется мне утопиться, то я и вам житья не дам! Непременно мертвая ходить начну к вам. Вы меня извели и со свету сжили, ну, я утопленницей... и буду к вам являться, покуда вы не замолите свой и мой грех.

Авдотья Ивановна была так поражена этими словами, что забыла догонять и мужа, забыла даже прикрикнуть на дерзкую девушку.

Уля грустно и тихо вышла из горницы, затворила дверь, и когда Воробушкина пришла в себя и выбежала за ворота, то ни мужа, ни Ули уже не было и следа.

Часа через два Капитон Иваныч возвратился домой – бодрый, отчасти даже веселый. Войдя в дом, он весело заявил супруге, что дело обстоит как нельзя лучше, что обещали ему в канцелярии фельдмаршала все устроить. Не снимая шляпы, вытянув руки по швам, Капитон Иваныч встал перед женой и проговорил, будто бы почтительно докладывая:

– Я их просил вас малость посудить и в острог посадить... Обещали постараться!.. А завтра мне будет личный аудиенц у фельдмаршала, что значит по-заморски – свидание. Жив я не буду, многоуважаемая я достопочтеннейшая сударыня Авдотья Ивановна, покуда я вас в рог бараний не согну!

И Капитон Иваныч повернулся на каблуках и вышел; однако, обойдя все горницы и узнав, что Ули уже нет в доме, он ушел к себе, сел в уголке своей комнаты и, закрыв лицо руками, заплакал.

Какой-то чиновник в канцелярии действительно обещал ему заняться делом о продаже Ули и взял с него вперед три рубля, но Капитон Иваныч слишком хорошо знал сутяжничество московских подьячих и в особенности канцелярии генерал-губернатора и нисколько не надеялся на успех своего дела. К тому же он сам знал законы настолько хорошо, что понимал, что жена имела полное право продать его племянницу.

XXII

Уля между тем быстрыми шагами шла по московским улицам, почти с одного конца города на другой.

Уля, благодаря опросам прохожих, скоро нашла домик нового барина. Алтынов, по обыкновению пропадавший по целым дням из дому, оказался дома. Он удивился внезапному и добровольному появлению девушки.

– Добро пожаловать, милости прошу! – ласково старался он выговорить. – Верно, Авдотья Ивановна прогнала от себя?

– Нет-с, сама пришла. Уговор был у нас: как выздоровеет Капитон Иваныч, так и прийти. Сегодня он вышел из дому, а я пошла к вам. Что прикажете делать? Куда идти?

Голос девушки был тихий, выражение лица кроткое; только глаза как-то особенно блестя. Она говорила и двигалась как бы в чаду, не вполне еще будто сознавая свое новое положение, сулившее много горя.

Алтынов, человек смывленный, много видов видавший, легко распознававший людские нравы, пристально пригляделся к лицу своей новой покупки. Он помолчал несколько минут и соображал. Он понимал, что имеет дело с такого сорта существом, которое может вместо выгоды принести ему много забот и хлопот. Глядя в лицо Ули, Алтынов вдруг чуть не раскался, что отдал уже сто рублей.

«Как бы мои денежки не пропали! – думал он. – Один способ: лаской взять».

И Алтынов мгновенно решил внутренне обставить жизнь Ули, по крайней мере на первое время, как можно приятнее и легче.

«Ангелом прикинулся!» – решил он и прибавил:

– Присядьте, Ульяна Борисовна! Снимайте салоп, садитесь... Велю я подать самоварчик и с вами побеседую, чтобы вы как следует знали, какое вам предстоит у меня житье.

Уля молча разделась, повесила на вешалку салоп и узелок свой, села на стул у окна и с заметным на лице удивлением глядела на Алтынова во все глаза.

Алтынов велел подать самовар, усадил за стол девушку и стал ей объяснять, что ее пребывание у него в доме продолжится недолго, что ему таких крепостных, которые смахивают на дворян, иметь не рука, что его дело торговое – купить, продать и барыш взять. Поэтому он предложил Уле делать что ей угодно, хоть целый день гулять по Москве, никакой работы в руки не брать и ничем себя не марать, не тревожить.

– А когда явится какой покупатель, – кончил он, – мы с вами отправимся на смотр. Есть у меня один на примете вельможа, богатеющий и добрый... Не чета вашей Авдотье Ивановне. Я, чай, слышали: бригадир Воротынский?

Уля при этом имени быстро вскинула глаза на Алтынова. Она слыхала о старом бригадире не раз, но молва называла его нехорошим именем, которое сказать даже девице нельзя.

– Вы, может быть, что-нибудь дурное слышали! – тотчас проговорил Алтынов. – Не верьте, все враки... Кого в Москве не оболгут!.. Да я так только, к примеру сказал, а может, вы совсем и не к нему попадете...

Затем Алтынов отвел Улю в маленькую горницу, чистенькую и светленькую, где все было опрятно. Горница эта была лучше и богаче ее собственной на Ленивке и сразу поневоле понравилась Уле.

Если бы не жаль ей было своего доброго Капитона Иваныча и если бы не было в ней какого-то необъяснимого внутреннего страха перед этим хозяином дома, то она бы, пожалуй, не стала печалиться о своей судьбе. Ласковее Алтынова еще никто с ней не обращался никогда, за исключением, конечно, самого Воробушкина.

День целый просидев в этой горнице, Уля прислушивалась и приглядывалась.

В небольшом доме постоянно толкалось пропасть народа. По двору тоже ходили всякого рода фигуры. Две или три показались даже Уле особенно страшными. Один из них высокий, саженный, широкоплечий великан особенно напугал ее своим лицом: он был с рваными ноздрями. Уля знала, что это отличие каторжников. Однажды среди дня раздался громкий голос Алтынова. Он позвал этого великана и при этом назвал его таким именем, которое показалось Уле даже страшным. Уля отчетливо два раза услышала слова: Марья Харчевна!

Когда смерклось, она легла на кровать, уткнулась лицом в подушки и, не выдержав, горько заплакала. Наконец от слез, усталости и всего пережитого за весь день девушка заснула крепким сном.

Проснувшись поутру, открыв глаза и увидя свет на дворе, она вскочила как ужаленная. Она испугалась мысли, что заснула и проспала так крепко. Мало ли что могло случиться! Зарезать могли!

Через несколько минут к ней вошла кухарка Алтынова и позвала ее вниз к барину.

Уля робко спустилась по лестнице. Ей казалось, что вчера почему-то она меньше боялась всего с ней происшедшего. Однако веселое, спокойное и довольное лицо Алтынова успокоило ее снова.

– Здравствуйте, Ульяна Борисовна! Как почивали? Вот эта дура, – показал он на кухарку, – вчера из-за вас двадцать розог получила.

– Как из-за меня? – воскликнула Уля.

– Да так. Получила ведь, Лукерья?

– Получила-с, – отозвалась женщина, глупо ухмыляясь.

– За что же? – выговорила Уля.

– Да ведь вы без ужина остались. Я отлучился, а эта дура не догадалась, а вы не спросили... Да ничего, ей не впервые... Ну-с, пожалуйста, покушайте чайку и закусите. А затем у меня будет до вас просьба. Обещаете исполнить? Дело очень немудреное.

– Что прикажете? – отозвалась Уля.

– А вот, извольте видеть сего лежащего на окне зверя?

Уля обернулась и увидела на подоконнике, под лучами пригревавшего солнца, большого, жирного, белого кота.

– Извольте прослушать, в чем дело. Сей зверь был мной ненароком найден на улице. Стало мне его жаль. Потерялся он, без хозяина, думаю я, голоден бедный зверь – дай его возьму домой, покормлю. Я ведь человек, Ульяна Борисовна, сердечный, ко всякому скоту сердце у меня. Вот и взял я его и принес домой, накормил. Так вот он у меня и остался, а сам я оповестил всех своих приятелей, чтобы разузнавали, чей кот. Не укрывать же мне скота или воровать? Ну, вот сегодня узнаю я, что сей зверь принадлежит генеральше Ромодановой, пропал оттуда, и что там идет теперь великая порка людская. Порют там и старого, и малого. Зверь – оказывается – любимец генеральши. Обожает она его пуще внука родного. Вот я и прошу вас: возьмите вы его, отнесите к генеральше и скажите, что нашли на улице. Меня не поминайте: она меня знает и не любит. Но только при этом извольте с нее стребовать награждение – рублей хоть пять, что ли. Понимаете теперь, в чем дело?

– Понимаю.

– Так снесете мне его?

– Снесу-с.

– И деньги стребуете?

– Если дадут; а не дадут, что же я могу сделать?

– Даром не оставляйте.

– Как же это я могу?

– Ну, как знаете. А снести да бросить его на двор и всякий может. А вы вымолите у генеральши на бедность, что ли. Скажите – не ели тря дня.

– Ведь это неправда.

– Что неправда?

– Да все неправда.

– Эй, голубушка, Ульяна Борисовна, с правдой долго не проживешь! как раз отощашь.

Нет, уж вы, за всю мою ласку к вам этак не супротивничайте, а то ведь я могу и в гнев войти. А вы у меня теперь в крепости, по документу. Хотите, я прочту документ? В нем сказано, что я волен в вашей жизни и смерти.

Алтынов часто делал то, что предлагал Уле, т. е. читал купленным людям выдуманную им самим форму купчей, в которой говорилось, что он может своим крепостным носы и уши резать, наказывать до смерти плетями и кошками железными, за ноги вешать, в реке топить и т. д.

– Прочесть вам? – пристал он к Уле.

– Зачем же? Я и так знаю, что куплена.

– Так снесете и деньги вымолите?

– Постараюсь.

– Вот и умница. Ромоданова живет около вас; вы небось и к себе заглянете, с Капитоном Иванычем повидаться?

– Если позволите.

– Отчего же? только будьте домой засветло.

Поев щей и каши через силу, Уля взяла огромного и тяжелого кота и тихо направилась с ним снова в свою сторону.

XXIII

Когда Уля вошла на большой двор палат Ромодановой, то заметила в нем особенное затишье. Не было веселых и праздных кучек холопов, не было смеху, не было никаких затей, как бывало всегда. Алтынов говорил правду, объясняя Уле, что уже три дня идет в доме Ромодановой великая порка людская.

Марья Абрамовна плакала непрерывно и лила слезы не хуже любого фонтана. От зари до зари нечувствительная к внуку, но чувствительная к коту боярыня повторяла на всевозможные лады, – то нежно, то грустно, то особо ужасным голосом:

– Ах, Вася, Вася! Где ты, мой Вася? Может быть, давно на том свете!

Лебяжьева уговаривала и успокаивала барыню на все лады, клялась и божилась, что вывернет всю Москву наизнанку, но непременно найдет Василия Васильевича. Вместе с тем Анна Захаровна внутренне злилась бесконечно на все и на всех и на самую барыню. По милости пропавшего кота уже третий день как не было у нее минуты свободной, все приходилось сидеть около барыни.

– Ах, Вася, Вася! – восклицала барыня.

«Ах, черт тебя с ним побери!» – думала в ту же минуту Лебяжьева.

– Чует мое сердце, что он на том свете! – восклицала барыня.

«Так его туда и пустили!» – злобно думала Лебяжьева.

– Где-то он, мой голубчик? – восклицала барыня.

«В раю, в раю, непременно», – ехидно думала барская барыня.

– Ах, Вася, Вася! – снова восклицала Ромоданова.

«Ах, дьявол, дьявол!» – мысленно заключала Анна Захаровна.

Когда Уля появилась на большом дворе, едва таща жирного кота и чувствуя, что он ей обломал руки, ее встретил кучер, увидел ношу и закричал благим матом во весь двор:

– Батюшки! Голубчики! Василий Васильевич!

И он бросился опрометью на главный подъезд, влетел в швейцарскую и, распахнув настежь двери, заревел во все горло:

– Василий Васильич!!

Не успела Уля пройти через двор, как уже всюду раздавались голоса, и пискливые, и крикливые, и басистые, повторявшие на все лады:

– Василий Васильевич! Василий Васильевич!

А сам Василий Васильевич, вероятно, почуяв, что он дома, что ему нет более нужды в неудобной постели на худеньких руках девушки, мягко спрыгнул на пол и поднялся по лестнице. Навстречу ему бежали уже десятки лакеев и горничных, а за ними туча приживальщиков. Всякий нагибался, растопыривал руки и восклицал: «Василий Васильевич!» – и старался взять кота на руки, чтобы иметь несказанное счастье и выгоду поднести его самой барыне. Но толстый Васька, будто насмех, будто понимая холопскую любезность всего этого народа, не давался никому в руки, ускользал у всех из рук и сам направлялся в ту горницу, где всегда сидела генеральша и где было у него свое собственное кресло.

Марья Абрамовна, безмолвная и бессловесная от избытка чувства, переполнившего ее сердце, приняла Василья Васильевича в свои объятия.

Нацеловавшись с ним вдоволь, барыня приказала тотчас вычистить, накормить Васю, а затем привести скорее к себе.

– Я у него расспрошу все!.. Он все скажет... Он, голубчик, все понимает! – говорила Марья Абрамовна. – Узнаю я, кто Иуда-предатель. Никогда мой Вася сам из дома не убежит.

Марья Абрамовна была права. Если бы Василий Васильевич умел говорить, то, конечно, рассказал бы барыне, каким образом ловкий Алтынов заполучил его, чтобы сорвать с гене-

ралыши деньги. Хоть пять рублей, а все пригодятся. Узнав, что кот принесла какая-то девушка, которую и прежде люди генералыши видали по соседству, Марья Абрамовна приказала позвать ее к себе.

Была ли барыня-причудница особенно в духе по случаю находки дорогого друга или действительно личико Ули, грустное, покрасневшее от ходьбы и морозу, сразу понравилось генеральше, – Ромоданова приняла девушку особенно ласково и усадила около себя, чего не позволяла никому, кроме важных знакомых.

Уля начала было через силу, несмотря на свое отвращение ко всякой лжи, рассказывать, как она нашла кота среди улицы, но тут же, после двух, трех вопросов генеральши, спуталась, все переврала и привела генеральшу к вопросу:

- Да ты, голубушка, все врешь? Все неправда ведь? скажи!
- Неправда-с, – произнесла Уля.
- Ты это все приврала?
- Приврала-с, – грустно улыбнулась Уля.
- Вот как! Сама же и рассказывает. Так зачем же? Говори всю правду, не бойся!
- Не могу я правду сказать... Мне от этого худо, очень худо будет...

Но – слово за слово – Марья Абрамовна выпытала у девушки все, что хотела, и не только про кота и про Алтынова рассказала Уля, но рассказала все до мельчайших подробностей касавшееся до нее самой, и до ее продажи, до Капитона Иваныча и его домашней жизни.

На Марью Абрамовну, видно по воле Божьей или на счастье Ули, нашел хороший стих. Стих этот находил на нее часто, но всегда зря. И в такие минуты много доброго делала она, но много и глупого.

Марья Абрамовна, насладившись видом снова принесенного и уже сладко спавшего на своем кресле кота, обернулась ласково к Уле, стала гладить девушку по головке и выговорила:

– Ну теперь ты моя. Я тебя покупаю... Будешь ты у меня, и будешь ты ходить за Васильем Васильевичем. Но только помни: обязанность твоя будет святейшая!.. А коли уворуют – не взыщи: сошлю на поселение. Ну, пойдешь к Анне Захаровне – отведут тебе горницу. А я сейчас пошлю к этому грабителю Алтынову за тебя деньги и прикажу сегодня же доставить документ.

- А если он не продаст меня вам? – выговорила Уля.
- Что ты, глупая!.. Как он смеет!

И Уля через несколько минут сидела в незнакомой ей горнице, опустив голову на грудь, глубоко задумавшись о том, что с ней творится. Будто волна моря житейского подхватила ее и несет, уносит куда-то – быть может, на счастье, быть может, на горе.

«Что-то будет?! – невольно думалось девушке. – Неужели же Авдотья Ивановна, продав ее из-за корысти, по воле Божьей, сделала это на ее же, Улино, счастье».

XXIV

В то время, как Марья Абрамовна пыткавала всю подноготную от Ули, Абрам сидел в горнице своего первого друга и наставника Ивана Дмитриева.

С тех пор, что бабушка съездила к Амвросию и окончательно перетолковала об его поступлении в монастырь, смущенный Абрам почти безвыходно сидел у Дмитриева. Они оба нескончаемо советовались о том, что делать.

Конечно, Иван Дмитриев советовал баричу прямо и резко разрешить вопрос простым неповиновением.

– Скажите: не хочу! – говорил он баричу. – Хочу, мол, поступить в гвардию!.. Ехать в Петербург!.. Я уж бегал не раз к законникам, расспрашивал... Все говорят, что силком вас не только бабушка, но и отец родной в монастырь отдать не может.

Но этому совету недоросль последовать не мог. Да и в речах Ивана Дмитриева слышно было сомнение. Открытое противодействие Марье Абрамовне было все-таки более или менее опасно как для барича, так и для самого Ивана Дмитриева.

После многих бесед и лакей, и барич решили повиниться беспрекословно, надеясь на то, что бабушка умрет, и тогда он сбросит рясу послушника монастырского и наденет капральский мундир.

Рассчитывать на смерть бодрой и моложавой Марьи Абрамовны было, конечно, не очень утешительно. Она могла прожить еще долго. И главная, хотя смутная надежда как дворового, так и его воспитанника зиждилась на страсти веселой и легкомысленной старухи к бойким лошадям.

– Авось, – говорил Иван Дмитриев, – вывернут ее где кони на голыши мостовой и расшибут башку на четыре части.

При этом, как часто случалось, Иван Дмитриев пугал барича прямым и грубым предложением.

– Перекинуться бы вам словечком с Акимом-кучером. Пообещать вольную да рублишек с тысячу! Он бы тогда бабушку-то как-нибудь растрепал по Москве.

– Что ты! что ты! – замахал руками Абрам. – Ты иной раз такое скажешь, что дрожь берет... Нешто этакое дело возможно?!

– А что же? Вы в этом будете неповинны. Он все на себя примет. Да и ни у кого и догадки не будет. Скажут – лошади разбили; а Аким болтать не станет, что магарыч от вас получил.

Абрам стал доказывать Дмитриеву, что если он наймет Акима, то главная вина и грех падут все-таки на него.

– Да грех-то грехом, – рассуждал закоснелый холоп, – я о грехе не говорю! Я собственно про закон говорю! Закону, в случае догадки, дело будет до Акима, а не до вас.

– Бог с ней! – заключал Абрам всякую такую беседу о бабушке. – Пускай живет и своей смертью умирает. Лишь бы только они не вздумали меня из послушников совсем монахом делать.

– Ну, это пустое. Этого, говорю вам, никто поделать не может. Тогда мы к самой императрице подадим жалобу. Я хоть сам в Питер пешком пойду и вашу просьбу государыне подам. Да этого они и не посмеют.

Под словом «они» и Дмитриев, и Абрам разумели триумвират – бабушку, Кейнмана и Серапиона; Анну Захаровну они исключали из числа заговорщиков против счастья Абрама, так как барской барыне было, в сущности, все на свете равно чуждо, что не касалось до ее мечтаний о женихе.

Подобного рода беседы и даже споры между дядькой-наставником и баричем постепенно, незаметно для обоих все-таки действовали на недоросля.

Абрам выезжал мало, почти не бывал в гостях и не имел сверстников, друзей и товарищей для каких-либо забав и развлечений. Бабушка всегда порхала одна по знакомым и никогда не брала его с собой. Абрам одевался по моде, богато и изящно, но затаскивал свои дорогие кафтаны, камзолы и кружева преимущественно по девичьим и передним.

Между обитателями большого дома у Абрама тоже не было сверстников, а был один близкий человек – гроза всех этих обитателей – Иван Дмитриев, грубый, дерзкий, не дававший спуска никому. Единственное существо, к которому Иван Дмитриев относился и сердечно, и отчасти даже почтительно, был молодой барин. Остальные обитатели дома были для него как бы существа низшего разбора. Одних он ненавидел, других он презирал, к третьим относился как к неодушевленным предметам и даже не разговаривал с ними никогда, не отвечал на их вопросы.

Трудно было решить: хороший ли человек, но изломанный судьбой был этот дворовый Ромодановых, или злой и уже от природы с дурными наклонностями. Он, однако, уподоблялся самой смиренной лошади, выпущенной на волю без узды. Самая заезженная кляча в этом случае начинает зря скакать, тыкаться в стены лбом и лягаться во все стороны. Иван Дмитриев, которому старая барыня спускала все без исключения и которого избаловала своим потворством и поблажкой, был ленив, груб, неблагодарен и вдобавок совершенно недоволен своей судьбой и своим положением. Он был крепостной, но жил и действовал как вольный, делал, что хотел, не повинаясь никому и не имея даже никакого определенного занятия в доме. В то же время все то, что мерещилось его честолюбию и чего желалось ему втайне, было совершенно невозможно как крепостному. Имея свои деньги, полученные по завещанию от покойного барина, он давно мечтал сделаться купцом, быть не Ванькой-холопом, а быть: «ваше степенство». Но старая барыня ни за что на свете не хотела отпустить его на волю.

Тайна странного положения Дмитриева в доме, этих странных отношений между барыней и дворовым была известна лишь им двум и отчасти барской барыне Анне Захаровне. Источник всего терялся в темной истории, случившейся двадцать лет назад вскоре после рождения на свет Абрама и смерти молодой барыни, его матери. Почти с того времени старый барин Ромоданов особенно стал любить и баловать Дмитриева, включил его в свое завещанье, оставил ему пятьсот рублей в личное распоряжение, но в то же время, умирая (чего Дмитриев не знал), строго-настрого заказал жене ни за что не отпускать этого Дмитриева на волю.

– Болтать будет – про что знает! – сказал боярин.

И старый заезженный конь без узды, т. е. крепостной холоп, распушенный, избалованный, ленивый, завистливый, раздражительный, был в тягость всем в доме и в тягость самому себе. Только один Абрам, по-видимому, любил, а в сущности, только привык к Дмитриеву, а лакей, со своей стороны, тоже, по-видимому, любил барича, а в сущности, считал его в будущем якорем спасения для своих честолюбивых замыслов. Барич, наследовав от бабушки, мог его со временем сделать вольным купцом – одним почерком пера.

Беседы Дмитриева с Абрамом, частые, долгие и откровенные до цинизма, имели, по счастью, не слишком большое влияние на молодого барина; иначе он давно бы стал негодяем. В сущности, Дмитриев воспитывал барича – и воспитал. Теперь молодой недоросль был уже отчасти на ногах, отчасти самостоятелен, и результат воспитания был незамысловатый. Все на свете сводилось к одному правилу: что богатому и родовитому барину должно быть все на свете – трын-трава! И во всем ему должно быть – море по колено!

– Вырастите и живите в свое удовольствие! – говаривал Дмитриев. – Хотите вы Ивана Великого на сторону свернуть... Ну и старайтесь. И гляди – свернете.

Иван Дмитриев был смолоду красив и большой любезник и ухаживатель за прекрасным полом и во дворе, и в околотке. Когда Абраму было еще только двенадцать лет, Дмитриев поверял уж ему все свои сердечные тайны, рассказывал свои любовные похождения, иногда ужасные, показывал ему на улице, в церкви, на гулянье, иногда даже у себя, своих любезных и

знакомил с ними Абрама. Водил его еще ребенком с собой в гости к этим женщинам и показывал ему своих детей, прижитых таким образом на стороне. И Абраму еще не минуло полных шестнадцати лет, когда он вдруг сделался соперником учителя-лакея и, отвоевав у Дмитриева одну уже пожилую его любезную, стал сам ее возлюбленным.

Дмитриеву это очень понравилось!

Теперь роли переменились: Абрам стал дон-Жуаном первой руки и постоянно поверял свои сердечные тайны Дмитриеву, и лакей с удовольствием исполнял роль Лепорелло.

Все это было известно Лебяжьевой; но до нее главным образом касалось содержать в порядке и чистоте не сердце и душу барича, а его белье, его платье и его горницу.

До бабушки не касалось ни то, ни другое. Кроме дядьки Дмитриева и барской барыни, были еще два лица, входившие по обязанности в соприкосновение с душой и разумом молодого барина.

Это были два учителя – немец Кейнман и дьячок с Остоженки с такой мудреной фамилией, что никто в доме не мог ее запомнить.

Первый – полу-учитель, полудоктор, усерднее лечил и услаждал беседами Марью Абрамовну, нежели учил барича. Дмитриев давно уже убедил питомца, что отношения немца с его бабушкой – дело нечистое. Дмитриев знал, что это вздор и клевета, но считал нужным и выгодным вселять в Абрама неприязнь и к учителю и к бабушке. Дьячок с букварем, псалтырем, с указкой и с книжками, одна грязнее и глупее другой, сильно зашибал, очень любил «монаха», как называл он косушку вина и часто являлся он к барину на урок в таком виде, что лыка не вязал и, сидя за столом, кивал носом, пьяно и глупо хихикал без причины или вдруг принимался горько плакать. Во всяком случае, он служил для Абрама неисчерпаемым источником для всяких грубых шуток, потех и затей.

Теперь уже, одолев давно букварь и умея кой-как писать и читать, Абрам занимался разными науками с Кейнманом. Названия наук были разные, и некоторые очень мудреные, но всякий урок раза два в неделю поселял в ученике познания, касавшиеся исключительно или географии Прибалтийского края и отчасти Финляндии, или же познания в анатомии и в фармакологии. Абрам знал наизусть все города и городки около Риги, Митавы и Ревеля, отчества Кейнмана, и знал отлично, где у человека печень, сердце, какая разница между артерией и веной.

XXV

Когда Уля явилась на двор дома Ромодановой с Василием Васильичем на руках, Абрам услышал и увидел в окошко тот переполох, который наделала девушка, явившись с беглецом.

– Ваську нашли! – выговорил Иван Дмитриев. – Ну, и слава тебе, Господи! Повесил бы я его, проклятого, вместе с вашей бабушкой на один сук! Что из него шума было! Вы чего это?!

Иван Дмитриев выговорил эти слова с некоторым удивлением, так как барич, ухватившись за подоконник, пытливо, внимательно глядел на девушку, которая несла через двор кота. Наконец он быстро вскочил на подоконник, отворил форточку и высунул голову.

– Чего вы? Чего вы? – повторил Иван Дмитриев.

– Да, она! она! – вскричал Абрам. – Ей-Богу, она!

Дядька-наставник, конечно, в секунду сообразил, в чем дело.

– Вона, и Ваську нашла одна из ваших!

– Нет, Иван. Это совсем другое дело. Это та самая девушка, про которую я тебе говорил столько раз; та, что от меня бегала. Она, она! – с особенным оживлением повторял Абрам.

– Форточку-то закройте. Мороз. Простудимся оба зря. Ишь ведь вы как встрепенулись! – усмехнулся Иван Дмитриев.

– Да ведь я ее больше месяца не видал! Думал, из Москвы уехала. Ну, теперь, шалишь, – не пропадет, с глаз не спущу. Побегу туда.

И Абрам заметался по горнице Ивана Дмитриева, отыскивая шляпу.

– Скажи на милость! – выговорил Дмитриев уже с некоторым удивлением, – вот что значит, когда сразу что не дается, сейчас больше захватывает. Не бегай она от вас, действуй, как наши сенные, так небось вы бы теперь не забегали так.

– Нет, нет, Иван, это совсем другое дело! Побегу туда.

И Абрам нашел свою шляпу, забыл ее надеть на голову и, держа в руках, вышел и побежал через двор. Уля была уже у барыни. Абрам был готов прямо тотчас ворваться туда и повидать ту единственную девушку, которая не давалась ему, как кладь, в руки и в которую, вследствие именно этой причины, он и был отчасти влюблен, – быть может, в первый раз в жизни.

Однако на пороге комнаты бабушки барич вдруг остановился.

Уля, видевшая его близко и говорившая с ним только два раза, знала его в лицо и даже однажды, изменив себе, ясно доказала, что тоже равнодушна к нему. Но кто такой этот молодой барин – она, быть может, не знала. Абрам сообразил, что девушка, нечаянно, вдруг увидя его в комнате барыни, которой она принесла кота, не сумеет себя сдержать. От нечаянности может что-нибудь случиться, а бабушка, пожалуй, увидит, заметит, догадается. Особенно дурного из этого ничего не могло быть, но все-таки лучше действовать осторожнее.

Абрам постоял у дверей и отошел. Выйдя в парадные комнаты, он стал ходить взад и вперед даже с некоторым волнением и начал прислушиваться, присматриваться и караулить, когда девушка, сдав кота и получив вознаграждение, снова пойдет через двор. Он решился броситься за ней вслед и на этот раз уже более не выпускать из рук.

– Хоть двадцать верст придется пешком идти, а дойду до ее дома, узнаю, кто она и где скрывается. Шалишь, голубушка! проморила меня чуть не год!

Долго Абрам ходил взад и вперед по комнатам, все прислушиваясь и выглядывая в окно. Но никто не вышел с подъезда, и о девушке, принесшей кота, не было ни слуху ни духу. Наконец барич не вытерпел и пошел к Анне Захаровне.

– Кто это Ваську принес? – выговорил он.

Лебяжьева поглядела в лицо юноши и покачала головой.

– И как это вы, Абрам Петрович, кричите этак! Услышит бабушка, задаст она вам – Ваську!..

– Ну, голубушка, виноват. Ну Вася, Василий Васильевич. Принес-то кто его?

– Принесла девица какая-то.

– Ну а теперь где?

– Да лежит на своем кресле и спит небось.

– Да не Васька, – черт с ним! Я про девушку спрашиваю. Она где?

– А она у нас оставлена. Я уже ей и горницу указала.

– Как у нас! – воскликнул Абрам.

– Да так, у нас. Ее Марья Абрамовна обласкала и купить хочет.

– Что вы! Анна Захаровна! Голубушка! Что вы!

И Абрам вдруг полез обниматься с Анной Захаровной.

– Ах вы горячка, горячка! – закачала головой Анна Захаровна. – Когда это у вас пройдет? В монастырь собираетесь, а сами не можете пропустить ни единой, что называется, нашей сестры. Чуть юбку какую увидели, сейчас и запрыгали.

– Да верно ли это, Анна Захаровна? Верно ли, что бабушка ее покупает?

– Верно, верно.

– И она у нас осталась?

– В горнице сидит, говорю вам. Сама отвела. Так и осталась у нас. Да вы-то, греховодник, прости Господи, вы-то ее откуда знаете? Знаете ее? Ась-ко?..

Абрам несколько пришел в себя, сообразил, что поступает не совсем осторожно, и прикинулся очень искусно.

– Вестимо не знаю. А так! Больно это все мне чудно показалось, оттого я и прибежал спросить. На черта мне – останется она, купят ее или прогонят. А собственно чудно! – принесла Ваську девка, а бабушка ее покупает. Все причуды!..

– Опять вы говорите: Васька! Будет вам когда-нибудь от бабушки!..

Но Абрам уже не слушал Анну Захаровну. Он выскочил в коридор с целью тотчас разыскать в лабиринте комнат больших палат бабушки ту горницу, в которой сидит теперь этот клад, давно не дающийся ему в руки.

Первая фигура, попавшаяся ему навстречу, была Тронька.

– Эй! Ты! Бесенок! – остановил ее Абрам. – В какой горнице поместили ту, что принесла Ваську?

– А в той самой, где надясь Савельич помер.

– Вон как! – выговорил Абрам весело. – Никто в ней жить не хотел, так ее поместили. Она Савельича не знавала, стало быть, и бояться не может!

И Абрам весело, чуть не подпрыгивая, бросился на другую половину большого дома, прямо в ту горницу, где за месяц перед тем жил и умер старик дворовый, которого люди все считали немножко колдуном, так что после его смерти никто не соглашался идти жить в его горницу, несмотря на то что она была одна из лучших.

Когда Абрам увидел дверь этой горницы слегка приотворенной и из нее скользил в темный коридор луч золотистого света, то у недоросля, привыкшего к постоянным похождениям такого рода, вдруг слегка застучало сердце сильнее. Он приостановился, перевел дух и храбро двинулся к двери. Через секунду он был на пороге горницы, где, опустив голову на руки, сидела Уля.

XXVI

Абрам, несмотря на свою обычную дерзость, долго простоял не шевелясь на пороге и глядел на опущенную русую головку Ули. Он не знал, как подойти, что сказать, чтобы сразу не очень испугать эту девушку, единственную из всех ему знакомых или им виденных в Москве, которая молча и боязливо, но все-таки упорно отстаивала себя давно от его любезностей и преследований, и притом совершенно особенно, на свой лад. Она защищалась от Абрама, как казалось ему, именно этим молчанием, этой кротостью и этим спокойствием в лице и во всем ее существе. Только раз, давно уже тому назад, на Святой, когда он вдруг подошел к ней в церкви, взял ее врасплох и похристосовался с ней, то она вся вспыхнула, и глаза ее, поднятые на него, засияли особенным светом, который выдал ее душевную тайну.

Абрам долго простоял бы в нерешительности, но шум в коридоре заставил его переступить порог и притворить дверь. Уля очнулась, подняла голову, увидела молодого человека, вскрикнула и замерла...

Абрам что-то выговорил и сделал два шага вперед, но Уля ничего не расслышала, не поняла. Она не двинулась, а будто застыла на месте и только взмахнула на него руками, будто отчаянно, судорожно хотела защитить себя от страшного привидения, от которого не имела силы бежать.

– Вы... Здесь!.. Вы в этом доме! – прошептала она наконец. – Вы внучек Марьи Абрамовны или другой?.. Кто вы?

– Да-с. Я ее внук... Я думал, вы это знали!.. Теперь я не удивляюсь, что вы от меня так бежали... Вы думали, что я... так... барчонок какой-нибудь... московский.

Абрам выговорил это самодовольно и, приблизясь, сел около Ули; но девушка тотчас вскочила и отошла к окну, пугливо озираясь на него. Она все еще не могла вполне прийти в себя, что около нее, в одной с ней горнице, глаз на глаз очутился вдруг тот самый красавец барин, которого она уже год лелеет в своих тайных мечтах.

– Что же вы от меня бегаєте? Чего вы боитесь? Я пришел только расспросить вас, как вы нашли Ваську и правда ли, что бабушка вас покупает?

А горячая мысль Ули была уже далеко. Она думала: «Она меня купит!.. Умрет... он ее наследник! Он один! Я его буду!! Да, его буду! Что захочет, то и будет делать!»

И личико Ули из удивленного, пораженного нечаянностью, стало вдруг грустным и сумрачным. Ей стало грустно и обидно! Какая пропасть сразу легла между ней и этим «милым» ее снов и грез! Чрез день-два она будет крепостная его бабушки и его самого.

– Неужели вы не знали, что я Ромоданов? Абрам Ромоданов?! – с удивлением спросил юноша. – Меня вся столица знает. Ведь вы прикидываетесь? Ей-Богу!

– Зачем же я буду прикидываться? – кротко удивилась Уля, в свою очередь. – Я никого про вас не спрашивала... Никому не говорила.

– Вы, однако, видели раз, как я с бабушкой проехал мимо в карете!

– Да, помню... но... я об этом не думала. Видела, но не подумала.

Наступило молчание, но Абрам тотчас прервал его вопросом:

– Скажите, у вас есть... Ну жених, что ли? Любезный? Ну, кто-нибудь, кого вы любите? Есть? Говорите правду!

– Жениха нет, а милый человек, любезный, хороший, дорогой, золотой...

– Есть?

– Есть! – тихо шепнула Уля, опуская глаза.

– Кто он? Говорите!

– Что же спрашивать? Зачем спрашивать? – как-то грустно отозвалась девушка.

– Я знать хочу. Мне надо... Надо знать...

Уля молчала и не шевелилась, но, когда Абрам встал и двинулся к ней, она вдруг встрепенулась вся и боязливо глянула на него.

– Говорите, кто ваш дорогой, золотой; не скажете, тотчас я вас поймаю и зацелую, – дерзко выговорил Абрам, подходя к девушке.

Уля вспыхнула и отодвинулась быстро в сторону. Абрам в секунду настиг ее, в один прыжок, и крепко обхватил.

Смущенную и трепетную, привлек он ее к себе и целовал ее пунцовое испуганное лицо.

– Ты ведь меня любишь, – через минуту выговорил Абрам. – Я твой дорогой и золотой, я это знал. Зачем же ты от меня укрывалась, бегала?

– На все воля Божья! Вот не убежала. Прямо на вас судьба навела. И что будет теперь?!

– Что я захочу, то и будет! Так ведь?

Уля молчала и думала: «Разумеется!»

Она умела избегать его издали, как и воробей умеет укрываться в чаще ветвей от кружащего в выси ястреба. Но, раз попав в его когти, что пользы порываться?

Уля была так поражена этой неожиданной встречей в доме богатой барыни. Горячие ласки, первые в жизни полученные девушкой, так смутили ей душу и разум, что она с трудом могла держаться на ногах.

– Уйдите!.. – шепнула она, окончательно теряя силы от его новых, неожиданных поцелуев, от его лица, горящего у ее лица.

– Сейчас! Уйду! Но вечером я буду у тебя. Чур, не запирайте дверей!

– Уйдите!

– Не запрещаешь?

– Не знаю...

– Не отвечай так. Говори правду.

– Ей-Богу, ей-Богу, не знаю, – прошептала Уля. – Может быть, запрю... Может быть, не... Не знаю, ей-Богу! Как Господь на душу положит.

– Запрещаешь – всему конец. Я завтра на тебя глядеть не стану. Помни!

– Как хотите. Ваша воля.

– Что «как хотите».

– Не смотрите...

– Так, стало быть, запрещаешь от меня.

Уля молчала упорно, закрыла лицо свое и опустила голову, как виновная.

– Да отвечай же мне!

– Отвечать! Что тут отвечать! Нечего отвечать! – вдруг резко вымолвила Уля с оттенком горечи. – Вы сами знаете, все знаете! На вас Господь меня навел... Ну и пускай! Пропадай все... Что я могу сделать? Я бы и рада... Да что я могу сделать?..

– Как ты чудно говоришь? – изумился Абрам, – Подумаешь, ты жалуешься! Подумаешь, ты уже моя крепостная и не смеешь мне перечить, не смеешь послушаться... Так я, милая, не хочу... Этак уж я сам не хочу! Я думал, что ты меня любишь, по своей воле будешь поступать!

– Ах! вы не понимаете... Не понимаете!

– Что? Скажи!..

– Ах, я и сама не знаю... Мне себя жалко... Пропаду я так, задаром, как другие пропали... Я думала, моя судьба другая будет! Но пускай... Пускай! на все воля Божья!

– Ты не пропадешь... Я тебя буду любить и всегда, всегда... всю мою жизнь. Умрет бабушка, ты станешь моей женой.

– Полноте! Зачем пустое говорить? Зачем лгать?.. Я не малолетняя... Я знаю все, что будет вперед... Много горя будет. Ну и пускай будет!

Уля смолкла, наклонилась над креслом, где сидел Абрам, как бы против воли обхватила его голову руками и хотела поцеловать, но не смела от охватившего ее стыда и только прижалась щекой к его голове.

– Вечером я буду, – шепнул Абрам. – Чур! не запирайтесь.

– Нет! Нет...

– Не запрешь?

– Запру. Запру...

– Да ведь ты же говоришь... Пускай... Воля Божья!

– Ах, дорогой мой, дайте одуматься!.. Все это так, вдруг... Одумаюсь – и тогда что хотите.

Хоть топиться прикажите... Уйдите!!

И Уля осталась одна в своей горнице, грустная и задумчивая.

XXVII

На другой день утром Уля, явившись к Марье Абрамовне на службу, т. е. сидеть около толстого Васьки, была поражена новостью. Она нашла в комнате у барыни Абрама, и старуха разясняла внуку подробно, что именно он должен отвечать преосвященному на все вопросы, которые тот может сделать. Оказалось, что Марья Абрамовна посылала внука к архиерею, чтобы явиться лично и изустно передать ему о своем желании поступить в монастырь.

Новость, что молодой человек поступает в монастырь, так поразила Улю, что она тут же ахнула и всплеснула руками.

Марья Абрамовна крайне рассердилась на новую служанку, которую собиралась покупать.

– Чего ты кричишь?! Да и не твое это дело! – воскликнула барыня. – Мало ли какие разговоры я при тебе буду вести! Ты должна стараться не слушать! А коли слышишь, то делай вид, что не знаешь и не понимаешь ничего.

Уля почти не слыхала выговора. Едва только молодой барин вышел от бабушки, Уля воспользовалась первым предлогом, чтобы уйти тоже и узнать от Абрама объяснение всего слышанного. Но она нигде не нашла его. Молодой барин, которому уже подали карету, был у дядьки во флигеле.

Уля постояла минуту на парадной лестнице и, не зная обычаев дома, не зная того, что Абрам не может уехать, не простившись с бабушкой, вообразила себе, что он тотчас уедет. А она хотела во что бы то ни стало переговорить с ним, спросить, что значит эта ужасная, непонятная новость.

«Он? В монастыре?! Да ведь это Бог весть что!..» – повторяла Уля мысленно.

И вдруг, в этой кроткой, стыдливой и робкой девушке явилась ей самой незнакомая, внезапная решимость. Она сошла с крыльца, перебежала двор, разыскала помещение дядьки и явилась на пороге горницы Ивана Дмитриева, как если б уже сто раз бывала там.

И барин и дядька изумились ее появлению. Уля, едва переводя дыхание, закидала Абрама вопросами об ужасной для нее новости.

«Совсем бесстыжая! Или безумная!» – решил про себя Дмитриев, разглядев внимательно отчаянно решительную фигуру Ули. Дядька, знаток прекрасного пола, не догадался о том, что происходило на душе этой девушки.

Узнав от Абрама и от Дмитриева, что дело поступления в монастырь вовсе не так ужасно, как она думает, да, пожалуй, еще и не состоится, Уля вздохнула, провела рукой по глазам и по лицу своему и вдруг будто проснулась, будто очнулась от глубокого сна. И в ту же секунду она вспыхнула, смутилась и бросилась вон из горницы Дмитриева.

– Шальная! – проводил ее лакей-дядька.

Чрез полчаса Абрам съехал со двора, провожаемый дворней. Лицо его было насмешливо-веселое.

Лихие кони Ромодановой быстро домчали карету до Кремля и Чудова монастыря, где жил Амвросий, и чрез несколько минут Абрам уже входил в просторную келью, где всегда работал архиерей.

Преосвященный Амвросий, архиепископ московский и калужский, был человек уже за шестьдесят лет, но казавшийся гораздо моложе. Черты лица его были неправильны; чересчур толстый нос портил его, но живые и умные глаза, немного хитрый взгляд оживляли это лицо.

Амвросий был южного происхождения. Отец его, родом валлах, Степан Зертиш, был взят в конце предыдущего столетия гетманом Мазепой²² как переводчик с греческого и турецкого языков.

В 1708 году в октябре, в бытность Степана Зертиша в Нежине, у него родился сын, названный Андреем.

Скоро мальчик остался круглым сиротой, и родной брат его матери, малороссийский дворянин происхождения, проживавший в Киеве, выписал его к себе. Дядя этот, Каменский, был настоятелем в Киево-Печерской лавре.

Мальчик, отличавшийся бойкими способностями, был помещен дядей в Киевскую академию, затем отправился в Львов, где два года учился еще и узнал польский и латинский языки. Знакомство с польским языком дало ему возможность прочесть много сочинений в переводе с европейских языков.

Уже лет двадцати восьми Андрей Зертиш вернулся снова в Киев, был усыновлен своим дядей и под именем Зертиша-Каменского отправился в Петербург. Здесь он был сделан тотчас учителем семинарии при Александро-Невском монастыре. Когда ему минуло тридцать лет, он решился исполнить давнишнее желание – постричься в монахи. С этой просьбой обратился он к человеку, которого наиболее любил и уважал, – к Феофану Прокоповичу²³.

Но умный старец целый год, несмотря на все просьбы, не позволял молодому Андрею поступать в монахи. Видя, что никакие доводы не действуют на молодого человека, Феофан Прокопович дал ему прочесть книгу «Похвала супружеству», которая должна была убедить молодого Андрея, что житейское море и мирская жизнь гораздо привлекательнее и легче, нежели монашеские.

Но образованный, умный и втайне честолюбивый молодой человек упорно стоял на своем. Он мечтал не о том, как трудно служить и угодить Богу, а о том, что легче надеть митру, нежели генеральскую шляпу. Честолюбие двигало им, и рассудок заставлял предпочесть поприще духовное всякому иному поприщу.

В 1739 году Андрей Зертиш постригся в монахи под именем Амвросия. Спустя девять лет, в царствование императрицы Елизаветы, он уже сделался архимандритом Воскресенского монастыря, именуемого Новым Иерусалимом, и в то же время стал членом Синода, пользуясь покровительством императрицы, которой был лично известен. Еще через пять лет он был уже епископом. Перед самой смертью императрица перевела его на епархию близ Москвы – Крутицкую и Можайскую. И наконец, года за три перед сим, Амвросий был назначен императрицей Екатериной архиепископом Московским.

Поводом к покровительству со стороны царствующей императрицы были сочинения Амвросия, из которых самое известное имело большой успех в обеих столицах. Оно называлось: «Рассуждения против афеистов и натуралистов».

Амвросий, как человек умный и просвещенный, к тому же очень начитанный, знавший теперь хорошо пять или шесть языков, – вел жизнь очень строгую и простую и много работал. Помимо управления самою важною в России епархией, он постоянно работал, читал, переводил, писал и издавал в свет и свои труды, и сочинения других лиц. Между прочим, он издавал сочинения Феофана Прокоповича. Некоторые из этих изданий Амвросий печатал за границей в Геттингене, и поэтому он переписывался со многими немецкими учеными.

Наконец, кроме постоянных, срочных занятий, он уже несколько лет работал над огромным трудом. Это был парафрастический перевод псалтыря с еврейского языка на русский.

²² Мазепа Иван Степанович (1644–1709) – гетман Украины (1687–1708), стремившийся к отделению Украины от России. Во время Северной войны изменил Петру I и перешел на сторону шведского короля Карла XII.

²³ Феофан Прокопович (1681–1736) – русский государственный и церковный деятель, писатель, сподвижник Петра I.

У Амвросия была еще и другая работа, другая особенная страсть. Он любил строить. Ему часто говорили о том, что ему следовало быть не монахом, а архитектором. Будучи в Новом Иерусалиме, он на свой собственный счет кончил дело Никона, т. е. достроил главный храм. Когда он был назначен в Новый Иерусалим, то монастырь находился в самом жалком виде: все валилось, все падало. Еще немного, и заброшенный монастырь мог бы превратиться в кучу развалин и перестать существовать. Когда же Амвросий покидал Новый Иерусалим, то монастыря нельзя было узнать, и если много денег присылала ему на постройки императрица, то, может быть, еще больше положил он на монастырь своих собственных.

Переведенный из Нового Иерусалима на епархию Крутицкую, Амвросий и здесь снова принялся за архитектуру. Наконец, сделавшись московским преосвященным, он за свой счет занялся украшением внутренности Чудова монастыря, где жил. В то же время он выхлопотал себе позволение у императрицы заняться обновлением пришедших в ветхость кремлевских соборов и, благодаря его страсти строить, Благовещенский собор в Кремле был возобновлен заново, и Амвросий мечтал точно так же восстановить все остальные.

Несмотря на свои разнообразные занятия, преосвященный много выезжал, любил бывать в обществе и охотно принимал у себя людей всех классов. Всякий, имевший до него дело, имел и легкий доступ. Единственное исключение составляло духовенство, которое Амвросий держал в ежовых рукавицах и часто относился к нему со строгостью, доходившей до жестокости. И насколько московское общество, сановники и барыни любили преосвященного, настолько же духовенство ненавидело своего «владыку-полутурку». Строгость Амвросия объясняли именно тем, что он – полухохол, полуваллах, прошедший полжизни за границей и на юге, не знавший близко положения, нравов и условий жизни российского духовенства. Он хотел упрямо и резко, сразу, как фокусом, поставить все на ту ногу, на какой видел католическое духовенство в Галиции. Со вступлением Амвросия в московскую епархию началась тотчас упорная, отчаянная и жестокая, даже бесчеловечная борьба с вековыми и коренными обычаями и нравами всей духовной иерархии, ему подведомственной.

В тот день, когда молодой и богатый барич Ромоданов явился у подъезда Чудова монастыря и велел о себе доложить преосвященному, у Амвросия сидел монах крошечного роста, весь седенький и сморщенный, как старый гриб. Это был его родной брат, старец Никон, который при протекции Амвросия был теперь архимандритом того же Нового Иерусалима. Никон приехал на побывку к владыке-брату, которого обожал, за новыми указаниями в общем для них и близком деле – борьбе с монастырскою распушенностью.

Амвросий принял барича тотчас и, обласкав, усадил.

– Вот оно и кстати, – выговорил он. – Вот тебе, сударь, и твое начальство налицо. – И, обратясь к Никону, преосвященный объяснил, что молодой Ромоданов просится в послушники в Новый Иерусалим. Абрам, конечно, разумно смолчал, но вся фигура его, щегольской наряд, молодое и веселое лицо, с немного дерзким выраженьем избалованного барчонка, – все так противоречило намерению «служить Господу Богу», что маленький сморщенный Никон, оглядев барича, решительно мотнул головой.

– Нет! Уж спасибо, – гнусливо пробурчал он. – Нам таких в пустыню не треба. С картинки сорвался! Этаким всем моим инокам головы свертит, альбо споит к кругу, коли богат. Нет, братец-владыко, уволь.

Амвросий едва заметно улыбнулся.

– Так не желаешь Ромоданова в Иерусалим?

– Ни, ни, нехай хлопец в Москве клокчет да на твоих очах Богу молится. А у меня не рука ему быть.

– Ну, стало быть, в Донской... к Антонию... – обратился Амвросий к баричу.

– Как прикажете! – весело и бойко проговорил Абрам, играя своей красивой шляпой, лежавшей на его коленях.

Преосвященный пригляделся, молча и пристально, к баричу, вздохнул как-то странно, будто позавидовал молодому юноше богачу и отпустил со словами:

– Мой усердный поклон бабушке... Так, когда угодно, я скажу Антонию...

И Абрам, выйдя из келии, быстро сбежал по лестнице на подъезд.

«Спасибо, этот сморчок меня не захотел к себе, – думал он. – А то бы в Новый Иерусалим... Не ближний свет! Шутка сказать! А Донской все-таки под городом».

XXVIII

На Введенских горах, в одной из горниц большого каменного флигеля, прилегающего к еще большему казенному зданию огромных размеров, сидел за своим письменным столом доктор Шафонский, директор военного госпиталя.

Около него, на подачу руки, лежали в беспорядке кипы разных книг иностранной печати. Шафонский вообще много работал, но за последние дни более, чем когда-либо.

Уже более двух недель он находился в тревожном состоянии. В его госпиталь взошла болезнь, не поддававшаяся никакому лечению. Все заболевшие умирали.

Доктор и директор госпиталя был человек умный, начитанный, не только медик, но еще ученый, человек крайне образованный по своему времени. Его, доктора, уже давно интересовала та болезнь, которая была на южнорусских границах и опустошала Молдавию и Валахию. Прислушиваясь, приглядываясь к тому, что делала чума на далекой окраине, Шафонскому не раз приходило на ум, что, пожалуй, эта болезнь может перейти и на север, пробраться в Россию, в самое сердце ее, вместе с возвращавшимися на родину солдатами.

Еще в те дни, когда чума оказалась на границе России, Шафонский уже доискивался, собирал сведения о характере этой страшной болезни и о том, в каком виде проявилась она за сто лет перед тем, в царствование Алексея Михайловича. Сведений, конечно, собрал он мало. В тех документах, которые попадались ему в руки, говорилось только, что «Господь Бог прогневался на русскую землю, что «за грехи наши помирают многие люди скорою смертью». Сведения эти были важны для доктора и ученого только тем, что они ясно доказывали неослабную силу чумы, как в жарких странах, так и среди русского мороза.

Затем Шафонский следил с тайным страхом человека образованного за приближением незваной гостьи. Гостья эта, в виде какой-то таинственной и безжалостной ведьмы, двигалась все ближе и ближе и была уже наконец в Малороссии. Действительно, она двигалась на Москву точь-в-точь так же, как недавно тащилась и притащилась в Москву старая бабушка, которую подсадил к себе в сани Ивашка.

Еще осенью Шафонский счел своим долгом предупредить московские власти об опасности. Он говорил о чуме постоянно со всеми, начиная от полуживого Салтыкова и кончая мелкими чиновниками. Но москвичи – и знатные, и незнатные, образованные и полуграмотные – одинаково относились к словам доктора со смехом, шутками, прибаутками, и Шафонский в два месяца чуть не прослыл за шута или за человека, который помешался на чуме.

– К нам-то, в Москву, чума придет!.. – отвечали ему.

Наконец, однажды, случилась самая простая вещь: умер приезжий из армии офицер, остановившийся в Лефортове.

Шафонский мельком узнал от кого-то о смерти офицера – быстрой и странной. Другой не обратил бы на этот факт никакого внимания, но Шафонский, получив известие, тотчас поехал в Лефортово на квартиру офицера, расспросил фельдшеров, мрачно насупился после расспросов и взял к себе в госпиталь захворавшего денщика.

Денщик вскоре умер, но после него заболели другие, и пошла очередь.

Шафонский с утра до вечера не отходил от больных, лечил, возился с ними на все лады, доставал из разных мест, где только мог, книгу за книгой, зарывался в эти книги, бегал от книги к больному, от больного опять к книге, ни о чем не говорил ни с кем и только изредка отвечал как будто сам себе, как будто на какой-то вопрос:

– Да, да...

Сказать вслух, хотя бы даже самому себе страшное слово чума, он, однако, долго не решался.

Наконец, когда уже десятый человек, заболевший после денщика, умер в госпитале в течение нескольких часов, Шафонский вдруг, как будто решаясь на самоубийство, бросился стремглав к генерал-губернатору.

Салтыков выслушал доклад, вытаращил глаза, понюхал табаку из табакерки и ничего не сказал. Но Шафонский заметил, что как ни дряхл сановник, а все-таки понял, о чем докладывает директор госпиталя.

И вдруг он увидел в глазах и на лице генерал-губернатора такое выражение, что сам смутился. Если бы он сделал на базу генерал-губернатора какой-нибудь большой скандал, что-нибудь в высшей степени неприличное, то Салтыков посмотрел бы на него именно так.

Глаза старика сановника говорили доктору:

«Ну, батинька, этакой штуки я от тебя не ожидал».

Присутствующие ожидали, что генерал-губернатор велит этого нахала и выскочку вывести вон.

Действительно, этот доклад не повел ни к чему. Салтыков отнесся к заявлению директора госпиталя, как к поступку дурашного человека, выскочки, который кидается болтать зря, как какая-нибудь старая баба-сплетница.

«Ошалел он, что ли?! Или крестика захотелось?» – если не говорил, то думал Салтыков.

Весело хохотали в этот день адъютанты фельдмаршала, рассказывая и вспоминая, какое колено отмочил директор госпиталя.

– Каково это?.. – рассказывали они знакомым. – Приехал да при нас и хлоп этукую новость!.. В госпитале у него, видите, чума!..

Многие смеялись до слез.

Быть может, если бы не старая развалина Салтыков, другие сановники Москвы поверили бы известию хоть наполовину.

Но появился добрый гений, хороший человек, всеми любимый, теплый человек, общий приятель – доктор Риндер, который хохотал более всех над Шафонским и своим неподдельным, веселым смехом успокаивал всех, даже самых боязливых.

Шафонский сидел больше у себя, на Введенских горах, с своими книгами. Риндер, наоборот, уже лет с двадцать ни одной книги в руки не взял, зато сидел, с утра до вечера, у разных вельмож и в особенности у разных старых барынь. Он был вхож во все дома Москвы, во все палаты. Везде был свой человек, везде «голубчик, батюшка – Густав Карлыч», везде пророк и вещатель.

Много народу уморил он из своих приятельниц, но делал это как-то так мягко, хорошо, ласково, сердечно, что и сердиться нельзя было. Умиравший, обставленный его микстурами, как-то всегда удивительно сладко улыбался благодетелю Густаву Карлычу и до последней минуты верил, что он спасен. И разве только с того света мог обратиться к Риндеру с укором:

– Ах, мошенник! Надул ведь... Уморил...

Покуда Шафонский волновался, мучился и как ученый, и как доктор, и, наконец, как гражданин, Риндер летал из дома в дом, из палат в палаты, обедал, завтракал, играл в карты, в колечко, в бирюльки, чуть не танцевал.

Если бы кто-нибудь другой из докторов первый произнес слово «чума» в Москве, то, быть может, Риндер и призадумался бы, но эта страшная гостья оказалась так невежлива, что объявилась прежде всего Шафонскому. И этого было достаточно, чтобы Риндер не захотел признать ее прав на существование в столице.

Борьба двух врагов докторов, русского и немца, была не равная. Помимо их разного образа жизни, их характеров, помимо того, что Риндеру все были приятели, а Шафонского, сидящего вечно на Введенских горах, никто не знал, были и другие причины. Шафонский был только директором больницы, а Риндер был штатт-физикус и главный член конторы государственной медицинской коллегии.

Риндер был, стало быть, сам сановник, важная птица, и наконец, что важнее всего, Риндер был немец, а Шафонский только русский.

Прошло три недели после смерти денщика, привезенного из Лефортова. В госпитале Введенских гор все заболели и умирали один за другим солдаты, сторожа и рабочие. И однажды Шафонский, сознавая ясно, какую бурю он поднимет, ожидая, что, быть может, он сам себе сломит шею и потеряет место директора, сел за письменный стол и написал следующий осторожный рапорт в контору медицинской коллегии, где председал его личный враг – Риндер.

«Московской Генеральной Госпитали Конторе неизвестно, что из находящихся при той госпитале надзирателей и работников, и их жен и детей, живущих в Казенных Госпитальных на Введенских горах покоях, помре приключившимися им жестокими горячками, минувшего ноября с 18, по сие число, человек до десяти, из коих, по усмотрению состоящих при помянутой госпитале Медицинских чинов, некоторые оказались в сумнительстве к заразительной болезни: того ради Государственной Медицинской Коллегии Конторе Московской Генеральной Госпитали Контора, сим представляя, требует, дабы она Контора благоволила состоящих в Москве докторов, собрав общим от той Конторы присутствием, находящихся в здешней Госпитале больных, то же надзирателей и работников и прочих чинов, и их жен и детей, одержимых болезнями, неотменно сего числа освидетельствовать, и что по тому общему свидетельству окажется, учинить, к сохранению Высочайшего Ее Императорского Величества интереса и общенародной пользы, к предосторожности рассмотрение, и какое рассмотрение в том последует, Госпитальной Конторе дать наставление.

Афанасий Шафонский».

XXIX

6 тот же день, в сумерки, на двор госпиталя выехала карета, и появился из нее сам Риндер. Шафонский встретил неожиданного гостя и внутренне обрадовался его появлению.

«Пуускай сам посмотри! – подумал ей. – Дело очевидно, доказательство налицо».

Риндер поднялся по лестнице, обошел почти весь госпиталь, осмотрел вновь заболевших, и мрачное, озлобленное лицо его прояснилось. Но выражение гнева сменилось выражением глубочайшего презрения. Он стал расспрашивать Шафонского о смертных случаях, о характере болезни и все улыбался. Его улыбка говорила красноречиво: «Ах ты дрянь этакая, выскочка!...»

Сначала Шафонский убедительно и с жаром объяснял и доказывал господину штатт-физикусу, что нет никакого сомнения в существовании страшной болезни в стенах госпиталя, но затем, после целого ряда колкостей и насмешек со стороны своего врага, он не выдержал и стал говорить резко.

– Который же у вас, мой любезный сотоварищ, – сказал Риндер, – почитается самым чумным... первосортным? Покажите мне его.

– Да любой. Их теперь пять человек.

И Шафонский провел Риндера в одну палату.

– Ну, вот вам и первый – Медведев. Вчера заболел. Вот вам старик.

Риндер осмотрел старика презрительно и стал доказывать Шафонскому, что это совсем иная болезнь и последствие дурного поведения.

– Да ведь ему семьдесят лет! – воскликнул Шафонский, – да, наконец, я его знал три года, а вы его в первый раз видите...

– На нем, господин сотоварищ, – язвительно выговорил Риндер, – даже самых простых признаков этой болезни, вами накликаемой на нас, грешных, нету.

– Чего вам угодно? Пятен? Извольте... пожалуйста... Вы уж его видели... Пожалуйста... – уже громко, резко, вне себя говорил Шафонский.

И он повел Риндера в другую горницу. На постели лежал человек средних лет, в забытья.

– Иван! поднимись... сядь! – сказал Шафонский. – Аврамов! – продолжал он, – слышишь что? Сядь!

Но, нагнувшись ближе, доктор увидал, что больной в полном забытии.

– Вот-с! – воскликнул Шафонский, – час тому назад еще он был в памяти, а теперь, видите?!

И доктор позвал двух солдат, велел повернуть больного, поднять белье на спине и указал немцу довольно большие темно-багровые пятна.

– Хорошо-с этот? Тоже, по-вашему, та болезнь?

Ривдер поглядел внимательно, потом еще презрительнее сжал свои тонкие губы и вымолвил, посмеиваясь:

– Это очень страшная болезнь... Действительно очень редкая. Она называется по-вашему, по-русски, пролежни.

Шафонский оторопел, развел руками и даже слегка рот разинул.

– Ну, это, позвольте вам заметить, – выговорил он после минуты молчания, – уж просто наглость!

Риндер вспыхнул. Губы его, сжатые, раздвинулись и задрожали.

– Да-с! – вне себя кричал уже Шафонский на весь госпиталь. – Это наглость, за которую вашего брата, доктора, когда он так ошибается или так соврет, гонят в шею!

И Шафонский, не помня себя, поднял руку, как будто хотел на деле показать Рейдеру, что в данном случае следует сделать.

– Прележни! Когда человек заболел третьего дня... Прележни! Когда человек заболел третьего дня... Прележни в три дня!

– Да ведь это вы говорите, что три дня!.. – закричал тоже и Риндер.

– Да-с, я говорю. Я еще никогда не лгал так, как лгут немецкие доктора.

– Говорить, что это чума – есть преступная ложь!.. – все более озлобляясь, крикнул Риндер.

– Да-с, да-с! чума, чума и чума! Вот эта самая! – указал Шафонский дрожащей рукой на больного.

– Ну, так тогда какая-нибудь особенная, другая, – зеленея от злости, произнес Риндер, – другая, ваша российская или Введенская... Не моровая язва, а Шафонская язва.

– Нет-с, простая, настоящая, турецкая! А есть еще другая чума, еще хуже этой, и процветающая в России – это вы!

– Я? – окрысился Риндер.

– Да-с! Вы! Немцы!

И Шафонский, махнув рукой, пошел вон из палаты, не дожидаясь того, чтобы врач-начальник собрался уезжать. Но через несколько минут, в другой комнате, Шафонский опомнился, вернулся назад, нагнал уже спускавшегося по лестнице Риндера и крикнул:

– Я требую медицинский совет!.. Я требую, чтобы завтра же было здесь совещание медиков, каких вам угодно. И поглядим, посмеют ли они назвать эту болезнь пролежнями или иным прозвищем.

– Завтра же будет совет, – отозвался Риндер. – И я сам желаю, чтобы господа медики московские на консилиуме определили: может ли доктор, принявший пролежни за чуму, быть директором такого важного госпиталя.

Но Шафонский, не слушая угрозы, пущенной ему вслед, уже уходил к себе во флигель.

Риндер вне себя сел в свою карету и долго повторял дорогой:

– Warte, mein lieber²⁴, я тебя с твоей чумой вместе на дно морское спущу... Ты у меня, как возмутитель общественного спокойствия, уедешь куда-нибудь в Оренбург, а то и подальше!..

На другой день действительно собрался докторский совет в госпитале, в числе восьми человек. В этот совет вошли выбранные Риндером медики: один русский, один поляк и шесть немцев.

«Славно подобрал!» – подумал Шафонский.

Но, видно, наличные больные говорили сами за себя. Консилиум докторов постановил и написал следующее:

«Мнение докторское о появившейся в Московском госпитале опасной болезни.

Общим собранием находящихся в Москве господ докторов, из представленного описания от доктора Шафонского болезни с припадками, которая болезнь оказалась в госпитале, что на Введенских горах, от которой болезни померло человек тринадцать, утверждено: что она болезнь должна почитаться за моровую язву. Вследствие чего, для предосторожности должно предпринять всякие меры и предосторожности: 1) Должно пресечь сообщение города с госпиталю. 2) В оном госпитале оного госпиталя доктор должен всякое старание употреблять, чтобы оную болезнь там пресечь; а каким образом должно ему, доктору, там поступать в рассуждении лечения, от нас наставление дано, тако ж по его ежедневным рапортам в Кантору и впредь сообщаемы будут наставления. 3) По оного доктора Шафонского требованиям делать всякое исполнение и удовольствие. 22 декабря 1770 года».

Подписались доктора: Эрасмус, Шкиадан, Кульман, Мертенс, Фон-Аш, Вениаминов, Зибелин и Ягелский.

²⁴ Подожди, мой милый (нем.).

Когда доктора разъехались, Шафонский прочитал несколько раз эту бумагу и чуть не подпрыгнул от радости, несмотря на свою всегдашнюю серьезность.

Он точно будто обрадовался тому обстоятельству, что в его госпитале была действительно по заявлению консилиума, никакая иная болезнь, как сама страшная гостья – чума.

XXX

Ивашка, ворочаясь из церкви, где пропал его мешок, не горевал о нем, а, напротив, радостно рассуждал сам с собой насчет своей удачи. Он был в восторге, что попал в услужение к такой красавице барыне. Часто случалось ему, еще почти мальчуганом, думать целые вечера, иногда целые ночи напролет о какой-нибудь деревенской молодежи, глянувшей на него лишний раз. Одним словом, Ивашка был мягкосерд и влюбчив донельзя, но с тех пор, что он помнил себя, он ни разу не встречал – ни у себя в деревне или в околodge, ни в городе с тех пор, что приехал, – таких красавиц, как эта барыня. Ни разу ни одна из них не околдовала его так, как она.

Ивашка был такой чудной малый, что согласился бы на то, чего иной парень его деревни сразу бы и не понял. Он согласился бы с удовольствием служить без жалованья у красавицы барыни, нежели за большое жалованье у какого-нибудь купца. Но радость Ивашки продолжалась недолго. Когда он вошел в дом Барабина, барыня встретила его на крыльце, спросила – нашел ли он свой мешок, а затем прибавила:

– Ведь ты голоден? так ступай в людскую... Тебя накормят, а потом приходи, когда вернется домой мой хозяин.

Ивашка отправился в людскую и с особенным усердием занялся похлебкой и кашей, которую поставила ему на стол добролица, пожилая и по виду очень глупая кухарка дома – Пелагеюшка.

Кухарка тоже расспросила Ивашку, кто он я откуда, и закончила вопрос словами:

– Барыня Павла Мироновна из церкви-то привела? Она всегда у нас такая жалостливая к вашему брату... блаженному...

Ивашка обиделся.

– Нешто я блаженный? чего ты это!..

– Так кто же ты? нищий, что ли? побирушка?..

– Нету... просто так, стало быть, человек без места...

– Та-а-а-к... – протянула Пелагеюшка, – человек без места... чудно...

Ивашке давно уже хотелось расспросить кухарку о том, кто барыня – замужняя ли, вдова ли, но почему-то ему было стыдно и как-то страшно начать этот разговор. Он боялся, что глупая Пелагеюшка смекнет, догадается о том, что копошилось у него на сердце относительно этой красавицы барыни.

Но Пелагеюшка не заставила себя просить и сама, подойдя к столу и опершись руками на кочергу, стала перед Ивашкой и начала сама ему все выкладывать, что знала.

Ивашка скоро узнал, что хозяйка – дочь богатеющего купца Артамонова, замужем за его бывшим приказником и управителем, купцом Барабиным, что барынька горькую чашу пьет от своего хозяина.

– Тяжелый, – говорила Пелагеюшка, – ах, тяжелый... беда... к нему вблизи, паренек, лазать не след... бывает это, найдет на него, как огонь какой горит он. Мы все от него, что ни попадись, ножик ли, топор ли убираем скорей, а то попадется ему на глаза, схватит, да, того и гляди, кого и уложит... Позапрошлую осень он этакого, как ты, паренька, которого барыня тоже привела сюда якобы блаженного, чуть не убил... Померещилось ему что-то, ухватил он его за кафтанишку, встряхнул, да и бултых в колодец...

– Что ты! – невольно вымолвил Ивашка, – да за что же?

– За что! говорю тебе – сам он не знал за что: так, горяч...

– Ну, и что же? утонул тот?..

– Нет, как можно... Кабы утонул, то колодец испортил бы, а мы его по сю пору пьем. Крикнули народу веревку бросили, вытащили его. Уж как вытащили, родимый, что смеху

было... Как его только на ноги поставили, он как шарахнет на улицу, уходить значит... больно напужался...

Беседа Пелагеюшки с Ивашкой была прервана приходом женщины Настасьи, которая позвала парня наверх, к барыне.

Ивашка в легком смущении пошел в верхние горницы и в первой же большой столовой нашел красавицу барыню на стуле у окна.

Она сидела задумчиво, такая же строгая лицом, и, когда Ивашка вошел, не двинулась, бровью не новела, а только, подняв на него свои удивительные глаза, стала пристально, не моргнув, смотреть на Ивашку и будто мерять его с головы до пяток. Наконец она заговорила ровно, спокойно и как-то особенно... Каждое отдельное слово произносила она тихо, но ясно, отчетливо.

Ивашка невольно подумал про себя:

«Как хороша говорит... будто поет...»

Павла расспросила Ивашку снова о его делах, житье-бытье в Москве.

– Ну, а теперь, – кончила она, – что же ты будешь делать?

– Возьмите меня к себе, хоть в дворники, что ли... – вымолвил Ивашка.

– Нет, этого нельзя, – тихо выговорила Павла.

В ее голосе, как всегда, слышалось, что когда она скажет – нет, то уж это дело решенное и нечего просить.

– Придет сейчас мой хозяин, ты его проси взять тебя на фабрику. Будешь служить хорошо – попадешь в приказчики, разживешься...

Павла начала было спрашивать парня о Воробушкиных, о его молочной сестре, о которых он упомянул, но вдруг, глянув пристальнее в окно, в которое она не переставала во время беседы с Ивашкой постоянно заглядывать, она быстро встала и вымолвила беспокойным голосом:

– Ступай, ступай... уходи... выйди в сенцы... Хозяин мой идет, просись у него... уходи скорее.

Ивашка, под впечатлением ее тревожного голоса, выскочил в сенцы, как если бы спасался от преследования. Он почему-то струхнул и со страхом ожидал появления этого хозяина.

Через несколько минут в воротах показалась красивая фигура высокого, стройного человека, в новой поддевке, меховой шапке и в накинутом на плечах полушубке на богатом меху.

Барабин медленно, не спеша, поднялся по лестнице в сени. Еще издали завидя фигуру стоявшего парня, он тем не менее поднимался опустя глаза и, только приблизившись к Ивашке, поднял на него черные как уголь, продолговатые, беспокойные глаза.

Ивашка еще более смутился от этого страшного, недоброго взгляда.

«Вот у кого, должно быть, глаз-то скверный, не чета моему!» – подумал про себя невольно парень.

Барабин стал перед Ивашкой почти вплотную и, будучи выше его ростом, глянул на него сверху вниз и вымолвил угрюмо:

– Ну...

Это слово как будто говорило о том, что Барабин уж знает заранее, о чем будет парень просить.

У Ивашки от смущения язык как-то зря заболтался во рту, и он выговорил несколько слов, которые не вязались между собой. Но Барабин понял.

– Откуда свалился? – выговорил он. – Жена привела?

Ивашка отвечал, что Павла Мироновна нашла его в церкви и сжалилась над ним.

– Милостыню просил? – пробурчал угрюмо Барабин.

– Я-то? нет, зачем... я так, зашел помолиться.

– Как же она узнала, что ты голоден? на лбу у тебя, что ли, написано?.. Ты, что ли, заговорил, просить стал?.. или она сама?..

Ивашка сообразил, что ему приходилось рассказать, как, стоя близ царских дверей, он ахнул на всю церковь, пораженный красотой Павлы Мироновны. Ивашка понял, что рассказывать этого невозможно, не след и даже опасно – попадешь, пожалуй, в колодец, – надо было лгать, а Ивашка этого совершенно не умел.

И он снова начал лепетать что-то, совершенно не только непонятное Барабину, но даже ему самому.

Барабин раза два или три пытливо и подозрительно глянул на него своими беспокойными глазами и затем, не сказав ни слова, пошел в горницу.

Ивашка остался в сенях.

Через несколько минут вышла та же Настасья и велела ему снова идти в людскую, покуда хозяин не позовет.

Усевшись в углу людской, Ивашка на этот раз не стал болтать с хлопотавшей об обеде Пелагеюшкой, а обдумывал одно странное приключение.

С той минуты, что он увидел Барабина, ему показалось, что он когда-то видал его.

«Стало быть, в Москве повстречался как-нибудь!» – подумал сначала Ивашка.

Но затем, вспоминая, где он мог видеть Барабина, он вдруг был поражен открытием. Лицо Барабина оказалось ему совершенно знакомым, но совершенно по другим причинам.

Около их деревни, в богатой вотчине какого-то столичного боярина, была богатая церковь, вся покрытая живописью сверху донизу. Ивашка, будучи очень богомолен, не пропускал ни одной службы, подтягивал дьячкам на клиросе и кончил тем, что стал прислуживать в алтаре за кого-либо из отсутствующих дьячков.

После всякой обедни он долго оставался в церкви, прибирал все, а затем аккуратно каждый раз предавался своей страсти разглядывать живопись по стенам. Как любил Ивашка песни, любил слушать их, любил сам петь их, точно так же любил он малевание и живописание. Даже сам, случалось, мазал углем по заборам разные фигуры. Случалось ему за это занятие попадать и под палку.

В числе прочей живописи в храме была одна, изображавшая Страшный суд. На одной стороне восседал Господь Вседержитель, окруженный ангелами, а внизу рядами стояли праведники в белых одеждах; на другой стороне, на огненном кресле восседал сатана, с красными глазами, с рогами и с длинным хвостом. Перед ним была наворочена целая куча разных грешников, в разных положениях. Иные торчали совсем вверх ногами.

Ивашка так часто заглядывался на алую свирепую рожу сатаны, что он даже раза два приснился ему во сне. За последнее время он перестал подходить к этой живописи, но лицо врага рода человеческого осталось живо в его памяти. И вдруг, здесь в Москве, совершенно неожиданно, в доме удивительной красавицы барыни, которая обласкала его и околдовала, повстречал он человека, московского купца, у которого лицо было совершенно подобное лицу того сатаны. Ивашка был так поражен своим открытием, что, сидя в углу людской, закрыл лицо руками и ахнул на всю горницу.

Даже Пелагеюшка обернулась и позвала его. Но парень не слышал, так смутили собственные его мечтания. Первая мысль Ивашки была, конечно, бежать скорее из этого дома, где живет красавица, колдующая своими очами, и хозяин, схожий лицом с самим сатаной. Если бы Барабин в эту минуту не прислал за парнем в людскую, то, быть может, Ивашка и ушел бы потихоньку из этого дома.

Барабин вышел к парню в сени и, сложив руки на груди, проговорил угрюмо:

– Ну, завтра пойдешь со мной на Суконный двор. Нам народ нужен. А будешь дело свое делать рачительно, стараться, усердствовать, то будешь приказчиком... Только уговор вперед – коли будешь баловаться, то спуска не дам. Да ты думаешь – рассчитаю, что ли? Зачем? Это

повадка глупая... я гонять не люблю, а возьму да шкуру спущу... Не поладится дело – вторую спущу, а там и третью... будешь приказчиком или сдадут в больницу.

XXXI

На другой день утром Барабин отправился, по обыкновению, на Суконный двор и взял нового наемника с собой.

Недалеко от Москвы-реки, близ Каменного моста, тянулось большое здание с бесчисленным количеством пристроек и флигелей. Внутри был огромный двор. Несмотря на зимнее время, на нем как бы не было ни единой снежинки. Весь он выглядел изжелта-черным от грязи, сора и всякого мусора. Весь двор почти сплошь был завален кучами тюков, рогож и заставлен дровами. В иных местах снега не было совершенно и ноги вязли в каком-то странном соре. Среди самого двора было место, покрытое льдом, как бы замерзший пруд, но это была огромная лужа, настолько глубокая, что за два года перед тем, летом, двое пьяных суконщиков утонули в ней, и обоих засосала тина.

Покатые крыше надворных строений, спускавшиеся ко двору, были покрыты высокими сугробами, белыми как снег, так как рука все грязнящего рабочего не могла достать туда. Благодаря этим сахарным глыбам, двор, который они окружали, казался еще грязнее, еще ужаснее.

Барабин быстрой походкой вошел в главные ворота, повернул на лестницу и пошел длинным коридором, поворачивая то вправо, то влево. Ивашка едва поспевал за ним.

Наконец, в одной более чистой горнице Барабин сбросил с себя полушубок, и к ним явился старичок, сгорбленный, с большим красным носом, и маленькими глазенками. Это был главный приказчик Суконного двора – Кузьмич.

– Ну, Кузьмич, – вымолвил Барабин своим угрюмым голосом.

– Ничего-с, Тит Ильич, все слава Богу на этот раз... только драка была. Затесался сюда разбойник этот... Я чай, знаете... шляется по Москве... прозвище у него дурацкое – Марья Харчевна.

– Ну?..

– Ну-с, драку завели, одного он убил... Гришку.

– А еще? ничего?

– Все слава Богу... ничего-с.

– Ну, вот тебе, Кузьмич, нового парня. Коли будет старателен – в приказчики его проведем.

– А! нового, это хорошо, Тит Ильич, а то Алешка-то помер.

– Как помер? – воскликнул Барабин.

– Да-с. Часа тому с три. Извольте сами посмотреть.

– Чего мне смотреть... не прикидывается же... Помер, стало быть, помер... Вели стащить.

Барабин двинулся вдоль мастерских. Кузьмич и Ивашка последовали за ним. Пройдя одну длинную горницу, уставленную станками, они вышли в темную комнату, вроде сеней, и когда Барабин, шедший впереди, отворил дверь, то сильное зловонье охватило всех.

В сенях было темно, и только немного свету падало в растворенную дверь. В углу, на подостланных досках, лежало что-то прикрытое полушубком; с досок торчала вперед худая, костлявая нота.

– Это что? – воскликнул Барабин.

– Да эта самая старуха... позабыл я вам доложить... притащилась сюда к Алешке, погостила у него, потом опять ушла... а там опять наведалься да вдруг и померла.

– Чего же ты не убережешь?

– Да раза три наказывал парням стащить, да что с ними поделаешь? подлый народ... никому неохота с старой возжаться. Своих прибирают, а на эту охотников не найдешь... Извольте уж сами приказать.

– Ну, ладно, пусть. Сейчас тащи отсюда. Вот этот тебе подсобит.

Барабин прошел дальше. Кузьмич кликнул проходившего мимо парня и, при помощи Ивашки, все трое стащили старуху с досок и потащили во двор.

Ивашка, таща мертвую старуху за одно плечо, уже забыл думать о сильном зловонии, которое окружало труп. Он был поражен тем, что эта старуха была точь-в-точь та самая, а пожалуй, она сама, которую он посадил к себе в сани под Москвой и довез до Николая Ковыльского. И платье, казалось, то же, и платок, повязанный на лохматой голове.

Старуху стащили во двор за дрова, положили на мусор и прикрыли рогожкой. Полушубок Кузьмич приказал отнести к себе.

– Пригодится кому-нибудь, – сказал он.

Ивашка отошел от трупа, почесывая затылок.

«Удивительно... – думал он, – неужто это та самая старуха!.. Она, кажись, так и сказывала про какого-то Алешку, сына!.. И этот сказывает – Алешка у нее сын, да еще помер вчерась... удивительно...»

На Суконном дворе Ивашка стал жить ни хорошо, ни дурно.

Барабин, Кузьмич и все были им довольны, но сам Ивашка не был доволен ни своим положением, ни своим званием.

На фабрике было грязно, душно. Несколько сотен народу фабричного совсем не походили на крестьян его села. Ивашку, воспитанного в доме Воробушкиных на барскую ногу, отталкивала грубость фабричных и постоянное пьянство, драки, ссоры. Даже пища их была ему не по нутру.

Не прошло недели, как Барабин сделал его приказчиком. Ивашка быстро все усвоил, понял свою обязанность и исполнял ее добросовестно. Но в то же время он уже мечтал о том, как бы переменить место.

Единственно, что удерживало его на Суконном дворе, была возможность всякий день отправляться с докладом к Барабину и видеть, хоть одним глазком, вскользь, красавицу барыню, которая так околдовала его в церкви. Часто случалось, что Ивашка уходил, не выдавши Павлы Мироновны, и вечером, засыпая, утешался надеждой, что завтра непременно увидит ее.

Но главное, что смущало Ивашку и казалось ему удивительным и страшным, – это его скверный глаз на людей.

Как на прежних местах, так и теперь на Суконном дворе, Ивашка видел вокруг себя все болеющих и умирающих.

Однажды, встретив на улице подъячего Мартыныча в добром здоровье, он даже удивился. Он был убежден, что подъячий давно на том свете. На расспросы Мартыныча, почему он ушел, и на приглашение снова поступить к себе Ивашка снова отказался. На этот раз он привел в пример и в подтверждение своих опасений именно то обстоятельство, что на Суконном дворе точно так же продолжает он сглаживать людей.

– Так и мрут, – прибавил он, – всякий Божий день кто ни на есть заболит. Дня два проваляется и помрет. Одно мне остается – либо топиться, либо в Киев идти... в пещерники, грех свой замаливать.

Честный и добрый малый Ивашка давно уже объяснил Барабину и Кузьмичу, что его следует отпустить, что он – причина заболевания и смерти фабричных. Но Барабин и Кузьмич только вдоволь, до слез, нахохотались над парнем.

– Ладно, смертоносный, – шутил Барабин, – живи небось да делай свое дело.

Ивашка особенно не настаивал, так как, лишившись места на фабрике, он лишился бы возможности видеть Павлу Мироновну.

Однажды, дня через три после его объяснения с Мартынычем, за ним прибежала женщина из дома Барабина и потребовала его к барыне.

– Хозяин наш из Москвы отлучился, – сказала она, – а то нешто при нем посмела бы она тебя звать.

Провожая Ивашку до дому, женщина сказала несколько слов, которые как ножом ударили Ивашку.

– А что, паренек, ведь приглянулся ты нашей хозяйюшке... ей-Богу. Всякий день спрашивает о тебе – что, как, да хорошо ли живется, да не ругает ли тебя хозяин. Вот и ноне, только тот со двора – за тобой послала.

Ивашка, конечно, не смел и мечтать о том, чтобы такая важная барыня-красавица могла думать о нем, простом мужике. Он, конечно, не поверил болтовне бабы, но слова ее все-таки глубоко запали ему в душу.

Когда он вошел в дом Барабина, то чувствовал особенное смущение и с каким-то странным страхом ожидал свидания с глазу на глаз с барыней, о которой мечтал нескончаемо и день, и ночь.

Через несколько минут другая женщина позвала Ивашку из кухни наверх.

Павла сидела на том же самом стуле у окна, на котором видел ее Ивашка в первый день. И снова, так же как и в первый раз, Ивашку пронизали насквозь ее чудные, удивительные глаза. Он поклонился в пояс и стал, невольно отведи глаза в сторону и не имея сил глядеть ей в лицо.

– Ну, что? как тебе живется, хорошо ли?

– Ничего-с.

– Доволен?

– Доволен-с, ничего-с.

– Хозяин тобой доволен. Говорит, что если Кузьмич захворает, то тебя на его место поставит. Хозяин сказывает, что ты очень понятлив, трезвый, да потом, говорит, – совсем на мужика не похож. Рад бы ты на место Кузьмича попасть?

Ивашка не знал, что ответить.

– Что же молчишь?

– Возьмите меня к себе в дом, – выговорил Ивашка.

– Куда?

– К себе... в услужение... здесь, стало быть, в дом... – Ивашка едва-едва шевелил губами, будто сознавался в чем-то ужасном.

Не просьба его, а причина тайная этой просьбы смущала его. Лицо его, шепот, а вся поза так ясно говорили о том, что он силился скрыть, что всякая женщина почуяла бы, почему смущается и шепчет парень.

Павла пристально взгляделась в лицо Ивашки и вдруг произнесла тихо:

– Поверни глаза... Посмотри на меня.

Ивашка через силу исполнял приказание, но только на мгновение пересилил себя и снова опустил взгляд.

Наступило молчание. Павла в этих глазах поняла все и вдруг, среди тишины горницы, Ивашка расслышал ее тихий, сдержанный вздох.

– Ах, глупый ты, глупый, – выговорила она тихо, будто самой себе. – Не знаешь ты своего хозяина... померещится ему что-нибудь, и он убьет зря. Ты вот что, Иван, выбрось всякий вздор из головы... думай о деле. Вишь ведь какой? Мужик из деревни, а что на уме...

Наступило снова молчание.

Ивашка продолжал стоять, опустив голову и опустив глаза в землю.

– Обещаешься ты мне обо мне не думать? Я ведь замужняя, да тебе и не пара. Совсем глупо выходит... Мне бы хотелось видать тебя, знать, что ты заделываешь, а если ты этак... Этакое глупое на уме будешь иметь, мне тебя нельзя к себе и звать. Выходит нехорошо... Знала бы я это, и сегодня не воззвала бы.

Ивашка ничего не отвечал и стоял как истукан.

– Ну, что у вас делается? Правда ли, что все хворают люди?

– Точно так. Просил уж я хозяина меня отпустить – смеется...

– Да как же не смеяться? Нешто может человек сглаживать народ насмерть? Ведь вот жил у вас целый день, а спасибо, никого не сглазил, никто у вас не захворал в не помер.

– Это точно... вот я оттого в просился опять к вам.

– Не лги... совсем не оттого. Ты просишься затем, чтобы поближе ко мне быть. Ведь так?

Погляди-ка на меня!

Но Ивашка на этот раз не поднял опущенных глаз и только слегка вспыхнул.

– Глупый ты!.. Возьми я тебя сюда... ну, а коли заприметит хозяин мой да узнает то, что я узнала? что тогда будет с тобой? Задаром пропадешь.

– Хозяина я не боюсь... – прошептал Ивашка чуть слышно.

– Что, что?

– Хозяина, говорю, не боюсь. Хоть сто смертей пройду...

– Полно... – строго выговорила Павла другим голосом. – Не смей никогда и впредь таких речей со мною держать. Ты, глупый, не понимаешь, что мне, первостатейной, столичной купчихе, только обида, если простой парень, мужик, будет мне такие слова говорить.

И опять наступило молчание.

Ивашке хотелось уже, чтобы гордая красавица барыня отпустила его. Ему было в стыдно, и тяжело стоять перед ней, не смея поднять головы и взглянуть на нее.

– Скажи-ка лучше, – заговорила снова Павла, – как это народ все хворает? и почему? Ты думаешь, все одной хворостью?

– Точно так, все на один лад... Потрясет человека, погорит в огне, потеряет мысли, значит, лежит чурбаном или мечется, а там чернеть качнет... А там затихнет, будто заснул, а смотришь – тащи его на двор, хорони.

– Да разве вы во дворе хороните?

– Во дворе.

– Как же так?

– Не знаю, так указано.

– За батюшкой посылаете?

– Нет-с, не приказано. Приказано от хозяина: как помер – на дворе яму выкопать и хоронить. За дровами, значит, недалеча оттуда, где лужа такая большая.

– Отчего же так? – с изумлением выговорила Павла.

– А земля мягче, копать слободнее.

– Что? да я не про то. Отчего за батюшкой не посылают? Ведь это все грех. Знает ли отец про эти порядки? Когда был у вас МIRON Дмитрич?

– Давненько не был. На второй день, как я поступил, – они заезжали, да так, у ворот только постояли, о чем-то поговорили и уехали.

– А в самый двор не входил?

– Нет-с.

– Много ли у вас померло?

– Да кто их знает. Десятка два, а то и более, а то и полсотни.

– Что же Кузьмич говорит?

– Говорит – помирают.

– Ну да. Да отчего помирают?

– Да так, говорит, помирают. Известно, человек жив – а там помер. Я говорю – от моего глаза, а он говорит – ты дурак.

Павла невольно усмехнулась.

– Ну, ступай к себе. В другой раз, можно будет, пошлю за тобой. Только помни, Иван... мысли эти из головы выкинь, а то и грех, и обида. И посылать я за тобой не стану. Обещаешься?

– Обещаюсь... – пролепетал Ивашка и, по знаку красавицы, вышел из горницы.

Павла, по уходе молодого парня, красивого не столько лицом, сколько выражением этого лица с большими серыми, кроткими и ясными глазами, долго просидела неподвижно, склонив голову на руки и глубоко задумавшись.

Она сказала ему сейчас, что ей, первостатейной купчихе столичной, обида слушать такие речи от простого парня деревенского. А чем же был ее отец, когда пришел босоногий в Москву? Чем был ее муж, когда поступил к отцу в услужение на тот же Суконный двор? И Артамонов, и Барабин, и Ивашка все те же мужики. Павла, через несколько минут глубокого раздумья, поймала себя самою на мысли – что если бы Ивашка поступил на фабрику несколько лет тому назад, то выслужился бы, вероятно, точно так же, как и Барабин. Точно так же видался бы с ней, и, быть может, кончилось бы все тем, что молодой парень точно так же полюбился бы ей и сделался бы ее мужем.

И вдруг Павла бессознательно поставила рядом в своем воображении Барабина и Ивашку. Страстного, крутого, тяжелого, черного как смоль Барабина и ласкового, с светлым лицом и с светлыми глазами Ивашку. Она примеривала одного к другому и кончила тем, что тяжело и глубоко вздохнула. Ей показалось, что она была бы вполне счастлива, совсем другая женщина, если бы судьбе захотелось распорядиться несколько иначе и вместо приказчика Барабина послать ей, несколько лет ранее, – приказчика Ивашку.

«Если такие мысли, – подумала она, – будут мне в голову лезть, так лучше за этим парнем более не посылать. Это все с тоски... с одиночества... Пойти-ка лучше прогуляться к бабушке да шепнуть Мите словечко о Суконном дворе».

XXXII

Через несколько минут Павла, надев богатую шубу, завязавшись пунцовым платком, направилась по улице к дому своего отца.

Не сразу отперли ворота и уняли собак. Дом Артамонова, первого богача, в этом отношении походил на острог, в который пробраться было довольно мудрено.

Павла нашла отца на его обыкновенном месте под образами, в покойном кресле, обитом какой-то бурой толстой кожей. По спинке, на ручках и ножках и вдоль сиденья были утыканы сотни маленьких гвоздиков, которые блистали узорами со всех сторон.

Седой как лунь Артамонов, с длинной седой бородой и длинными по плечам седыми и густыми локонами, был удивительно похож лицом на образа угодников в том же киоте, под которым он сидел. Перед ним на скамеечке сидел мальчуган, любимец Митя, и внимательно слушал что-то, что рассказывал ему отец, держа книгу на коленях.

И старик, и мальчуган равно рады были всегда появлению Павлы. Митя бросился к сестре на шею, а старик протянул обе руки, взял дочь за голову, притянул к себе и поцеловал несколько раз в щеки и лоб.

– Ну что, твой как поживает? – выговорил Артамонов. Это был всегдашний вопрос. «Твой» – был не муж, а ребенок. Про зятя Артамонов никогда не спрашивал. Когда же случилось говорить о зяте, Артамонов называл его по имени и отчеству – Тит Ильич.

Павла, приходя к отцу, большей частью молча сидела около него около часу и возвращалась домой. Говорить им было не о чем, нового и интересного не могло быть ничего.

О делах своих Артамонов не любил говорить, да с дочерью, т. е. с женщиной, считал подобного рода разговор неуместным.

О своих семейных делах Павла никогда не говорила. Она сама выдала себя замуж и если была несчастлива, то считала унижительным печалиться и жаловаться.

Каждый раз после молчаливого свидания старик снова брал дочь за голову, снова целовал ее так же, и только глубокий вздох, провожавший ее домой, ясно говорил о том, как тяжело старику положение его дочери. Часто после ухода Павлы старик бросал Четью-Минею²⁵ или иную священную книгу и долго сидел, опустив свою снежно-белую голову на грудь. И часто умному старику приходило на ум рассуждение, становился перед ним вопрос – зачем было богатеть, зачем было наживать целые кучи золота? Чтобы иметь много детей, всех почти потерять и иметь теперь двух сыновей болванов, «миндалей», и единственную дочь, несчастную в браке. И что же оставалось? Один мальчуган Митя.

И старик мысленно каждый раз привязывался еще более к этому мальчугану, хватался за него как за соломинку. В его будущем искал он спасенья своего душевного одиночества, в нем одном надеялся наконец увидеть смысл всего своего существования.

За последнее время все больше и чаще читал Артамонов Книгу Иова²⁶. Как удивились бы москвичи, узнав, что гордый на вид, грубый и суровый старик смирялся духом в тиши своей горницы и готов был отдать все своя кучи золота, свою спесь, свое презрение к московским сановникам, свое знание людей и дел, – все отдать, даже своих двух «миндалей», лишь бы отдали ему счастье Павлы и пообещали бы, что мальчуган Митя будет так умен, как обещает.

Часто приходило на ум старику то, что слышал он однажды от какого-то сенатора, что в заморских землях существует развод, что на Руси, например, у донских казаков, исстари

²⁵ *Четья-Минея* – «чтения ежемесячные», сборник житий святых, составленный по месяцам в соответствии с днями чествования православной церковью памяти каждого святого.

²⁶ ...книга Иова – одна из частей Ветхого завета.

водился обычай разводить мужа с женой, и оба делались свободны и могли вступать снова в брак.

И Артамонову не казалось это грехом. Он всячески обдумывал этот вопрос и поневоле видел разумность в этом обычае.

На этот раз Артамонову показалось, что дочь его особенно грустна. В действительности Павла была на вид несколько печальнее обыкновенного под влиянием тех мыслей, которые возникли в ней после ее беседы с влюбленным парнем.

Артамонов, видевший дочь насквозь, подумал, что Барабин, перед отъездом из Москвы, снова имел с женой крупную ссору. Подозрение Артамонова еще более усилилось, когда Павла, простившись, сказала с притворным равнодушием в голосе своему брату, чтобы он проводил ее домой.

«Что она ему скажет? – подумал старик. – О своих ссорах с мужем говорить мальчугану непристойно... и она этого не сделает. Стало быть, что-нибудь особенное... что и мальчугану сказать можно».

Между тем Павла говорила брату, когда они были на улице:

– Приходил бы ко мне чай пить, Митя! Ты у меня редко стал бывать. Кабы знал ты, как мне тошно и скучно, то чаще бы забегал. Знаешь ли ты, Митя, что мне иной раз все золотые иконы в образах кажут черными... зажжешь много свечей, зажжешь три лампы, а в горнице будто темнота... А на душе, Митя, так черно... как не дай Бог никому. Ну, да что об этом толковать. Я тебя недаром позвала.

Когда они были дома, в маленькой горнице Павлы, она передала Мите, вечному посреднику между ней и отцом, о том, что творилось в Суконном дворе.

– Ты, Митя, скажи батюшке, там что-то нехорошо. Ты пойми – там хворость завелась, народ мрет, а от начальства скрывают. Я слышала, что за священником не посылают, хоронят тихонько в дровах. Ведь за это все под суд пойдут, и батюшка под суд пойдет.

– Что ты, сестрица! Батюшка закупит. Кто же его может судить? Даст сто рублей генерал-губернатору, вот тебе и суд.

– Это нельзя, Митя.

– Ну, тысячу рублей даст, ну, десять тысяч. Говорю тебе, закупит. Что ни случись – мы всех закупим. Мне сказывали надясь, что мы всю Москву купить можем.

– Ты ступай, Митя, скажи батюшке про это. Ну, пускай ничего ему не будет, в ответ не попадет. Да ведь это грех, Митя! Православный народ как собак хоронят. Скажешь ему?

– Ладно, скажу. А что Тит не скажет?

– Стало быть, не хочет, скрывает или боится. Уж ты, Митя, скажи непременно.

Обещав непременно переговорить с отцом, которого Митя один во всей Москве не боялся и даже удивлялся, что другие боятся, мальчуган помолчал несколько времени и потом заискивающим голосом спросил у сестры:

– Павлянька, милая! что я у тебя все собираюсь спросить...

– Так спроси! – усмехнулась Павла.

– Ты надо мной смеяться не будешь?

– Вот вздор выдумал. Когда я над тобой смеюсь? И потом, ты не Силантий и не Пимен, глупого ничего не выдумаешь. Когда что и спросишь – все выйдет ладно. Ну, говори, что тебе?

– А вот что, сестрица... Уж не знаю, как тебе и сказать...

– Да говори просто.

– Просто?... Есть такие, сестрица, дела, что просто сказать нельзя. Вот видишь ли... есть на свете, ну, хоть в Москве, да и везде есть, стало быть... монахи. Ну, есть офицеры, ну, есть опять мужики, есть купцы, ну, вот мы купцы...

– Ну да, что же далее?

– Ну теперь мы купцы, а есть тоже дворяне... – Митя запнулся.

– Ну, ну, что же?

– Вот видишь ли... мы купцы...

Павла засмеялась.

– Ну, так и будешь повторять – мы купцы.

Митя слегка зарумянился и выговорил вдруг залпом:

– Может купец быть дворянином?

Павла не сразу ответила.

– Право, не знаю... может, да только не совсем.

– Да отчего не совсем? а ты подумай.

– Да, право, Митя, не знаю.

– А чай, бывали примеры?

– Ты лучше у батюшки спроси. Да зачем тебе?

– Зачем? Видишь – большая, у самой сынишка, а не понимаешь. Батюшка-то купец, и я, стало быть, купец. Ну, вот батюшка-то со всем своим золотом и серебром остается купец, а я не хочу. Вот тебе и весь сказ.

– Я что-то не понимаю, Митя!

– Так ты, сестрица, в своем одиночестве рассудка лишилась. Чего же тут не понимать? Я купеческий сын, а хочу быть дворянином.

– Вот как! скажи на милость.

– Да и сказал! – резко выговорил Митя.

И в голосе его услышала Павла голос отца своего.

– И буду, сестрица, вот что скажу. Вот не пройдет еще десяти лет, будет мне за двадцать, и буду я дворянин. Мундир надену, парик надену, шпагу прицеплю, в гвардию поступлю!..

– Что ты! голубчик... – воскликнула Павла. – Да нешто батюшка это позволит страдиться?.. он скажет, ты всех нас осрамил...

– Не скажет, сестрица! Я всякий день батюшку к этому приспособливаю.

– Что, что?

– Всякий день приспособливаю батюшку. Маленечко удочку закидываю, и он клюет! Скоро сам начнет говорить: «чтобы тебе, Митя, дворянином быть».

И Митя так искусно передразнил отца, что Павла, несмотря на свое грустное настроение, начала хохотать.

Умный мальчуган, видя, что развеселил сестру, стал нарочно представлять своего отца, которого обожал. Митя начал ходить, как Артамонов, медленно произносил слова, представлял, как он выговаривает Барабину за беспорядки на Суконном дворе. Затем вдруг Митя стал представлять самого Барабина.

Но тут Павла перестала смеяться, и Митя, к своему удивлению, вдруг увлеченный своей игрой, взглянув на лицо сестры, увидел его все в слезах.

– Что ты, сестрица, родимая!.. – бросился он к ней на шею.

Но Павла плакала и не могла выговорить ни слова.

– Что ты! обиделась? Я не знал... Я не хотел... Я думал, ты его совсем, совсем не любишь, а ты любишь? За что же ты его любишь? Он злодей...

– Ах, полно! полно!

И Павла невольно протянула руку и зажала рот своему брату.

Митя схватил ее за руку и продолжал с жаром:

– Да, злой!.. Я убил бы его!.. ты никогда не говоришь со мной о нем и с батюшкой не говоришь. Но мы часто беседуем и батюшка говорит, и я говорю – убить его... сослать его в Сибирь... Изводит он тебя, доживете вы до беды... до греха... Вырасту я, сестрица, я говорю тебе – избавлю я тебя от него...

Но Павла так отчаянно вскрикнула при этих словах и при виде необычайно оживленного лица маленького брата, что Митя отошел окну, припал горячим лбом к стеклу и замолчал.

В комнате наступило гробовое молчание, а страшные слова и страстный голос этого чудного отрока все еще, казалось, звучали в ушах испуганной и пораженной женщины.

XXXIII

В сумерки Митя, уже спокойный, но несколько задумчивый, вернулся домой и прошел прямо к старику отцу. Однако мальчуган отложил говорить с отцом о делах до утра. На следующий день он без всяких предисловий, прямо объяснил отцу, что на Суконном дворе творится что-то дурное, что мрет народ и что всех зарывают зря, как собак.

– Тебе кто сказал? – строго выговорил Артамонов. Митя удивился голосу отца. Редко, быть может, раз в год, обращался к нему старик с таким строгим голосом. Но Митя не привык пугаться гнева отца относительно его. Ему даже это нравилось, как нечто очень редкое, любопытное.

– Кто мне сказал? – отвечал Митя. – Ну либо догадывайся, либо так и останешься, не узнавши.

– Ну, не балуй... говори... был ты на Суконном дворе?

– Вишь, какой прыткий! начнешь расспрашивать, так обходами дойдешь. Я не скажу, так намеками, да другими сторонами узнаешь, в чем дело. Коли не сказал, от кого слышал, так не скажу и другое что...

– Не балуй, Митрий! – еще строже выговорил Артамонов. – Отвечай мне правду... дело это важное. Только одно мне отвечай... больше спрашивать не стану. Отвечай одно, что спрошу!

– Одно? ну, так, и быть, одно отвечу... спрашивай!

– Был ты на Суконном дворе?

– Выходит, тятя, обходом берешь.

– Каким обходом? – уже нетерпеливо заговорил старик.

– А таким – скажу, не был на Суконном дворе – ты скажешь: ну, значит, Павла сказала. Только мне и можно было побывать, что на Суконном да у Павлы. Стало быть, Павла сказала.

– Ну, что же она говорит про это? – как-то странно спросил старик.

– Что это – грех. Да говорит, что ты под суд попадешь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.